

ОТ АВТОРА «ХРОНИК СЕМЬИ КАЗАЛЕТ»

В ПЕРСПЕКТИВЕ



ЭЛИЗАБЕТ
ДЖЕЙН
ГОВАРД

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
ОТ ХИЛАРИ МАНТЕЛ

Семья Казалет

Элизабет Джейн Говард

В перспективе

«ЭКСМО»

1956

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Говард Э.

В перспективе / Э. Говард — «Эксмо», 1956 — (Семья Казалет)

ISBN 978-5-04-174015-3

От автора «Хроники семьи Казалет», выдающегося произведения XX века. Невероятно аутентичный взгляд на супружество в долгосрочной перспективе — из настоящего в прошлое — история брака, глазами женщины, которой не дали право выбора. Действие начинается в 1950 году, каждая последующая часть уводит нас все дальше в прошлое по жизни миссис Флеминг, пока мы не переносимся в 1926 год, где видим ее юной девушкой Тони, которую на пути к замужеству ждут обманы из лучших побуждений, растерянность, холодность матери и замкнутость отца. Никакой другой она просто не могла стать. Антонию болезненно сформировали — общество, семья и муж. В этой пронизательной и в конечном счете мрачной работе, Элизабет Джейн Говард блестяще рисует портрет семьи, в которой женщина лишена права на выбор. «Подумать только: роман «В перспективе», настолько зрелый и технически совершенный, был всего лишь ее второй книгой». — Хилари Мантел, автор «Волчьего зала» и «Внесите тела». «Говард пишет блестяще, и ее персонажи всегда правдоподобны. Она заставляет вас смеяться, плакать, а иногда шокирует». — Розамунда Пилчер, автор «Собирателей ракушек» и «В канун Рождества».

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-174015-3

© Говард Э., 1956

© Эксмо, 1956

Содержание

Предисловие	7
Часть 1	13
Часть 2	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Элизабет Джейн Говард В перспективе

Copyright © 1956 by Elizabeth Jane Howard

Introduction copyright © Hilary Mantel 2016

© Сапцина У., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Предисловие

Начинайте книгу, советуют писателям, так, чтобы никто не смог оставить ее без внимания. Устройте на странице пожар, заставьте предложение шипеть и искриться и швырните им в читателя, словно ручной гранатой.

С таким неистовым подходом неизбежно связан риск. Подобные усилия могут ошарашить не читателя, а самого писателя. И ему вряд ли хватит энергии, чтобы до самого конца книги достойно соответствовать собственному первому абзацу.

Есть и другой, не столь шумный способ: «Стало быть, вот как обстоит дело».

С затаенной, зловещей уверенностью писатель ставит для вас стул. Вы в столовой миссис Флеминг, вы соучастник. На ужин подадут устриц, куропатку и холодное апельсиновое суфле. Мимоходом, как бы в скобках, по сигналу легко постучавшей по хрусталу вилки, вносят первое блюдо:

«Сегодня вечером в доме на Кэмпден-Хилл-сквер за стол должны сесть восемь человек. Миссис Флеминг устраивала званый ужин (банальности такого рода от нее ждали, и она послушно соответствовала), чтобы отпраздновать помолвку сына и Джун Стокер».

Это зажиточный мир, экзотичность которому придает его исчезнувший этикет. Дамы стайкой удаляются в спальню миссис Флеминг, чтобы попудриться. В длинных платьях они чуть не спотыкаются на изогнутой лестнице. Они идут пить шампанское в честь целомудренной Джун, которую уже одолевают страшные сомнения. На время действие заключено в мягкую дымку света свечей. Тревога стучится в стекла высоких окон. Внутри – строгий и банальный менюэт: ритуал светского общества, в разной степени мучимого безволием, тревожными предчувствиями, скукой. Снаружи – хаос: мир противоречивых, неуправляемых возможностей, «поражающих воображение».

В последнее время Элизабет Джейн Говард, которую всегда знали как Джейн, принесла известность тетралогия романов, известная под названием «Хроники семьи Казалет», основанная на истории семьи самой писательницы и адаптированная для радио и телевидения. Прослеживая судьбы членов семьи, относящейся к верхушке среднего класса, действие этих четырех романов начинается в 1917 году и охватывает десятилетие; пятый роман, «Все меняется», забегает вперед, в 1956 год. Романы панорамны, обширны, интригующи как образчики социальной истории и щедры в своем повествовании. Это итог опыта целой жизни, исходящий от писательницы, которая знает свою цель и обладает выносливостью и необходимыми техническими навыками, чтобы ее достичь. Отрадно было бы, если бы внимание тысяч читателей, которым понравился этот цикл, удалось привлечь к более ранним работам автора. Было время, когда ее талант казался таким искрометным, таким безудержным, что было невозможно предсказать, куда он заведет ее. С самого начала она удостаивалась превосходных степеней скорее за великолепие своей прозы, нежели за эмоциональную эксцентричность персонажей. Их смех был неистовым, плач – заразительным, любовные связи – безрассудными. Но в эффектах, которые создавала писательница, не было ничего непредусмотренного. С самого начала она была мастером.

Роман «В перспективе», опубликованный в 1956 году, имеет пятичастную структуру. Его действие начинается в 1950 году, каждая последующая часть уводит нас все дальше в прошлое по жизни Антонии Флеминг, пока мы не переносимся в 1926 год, где видим ее юной девушкой, которую на пути к замужеству ждут обманы из лучших побуждений, растерянность и издевательства. Прочитать эту книгу гораздо проще, чем описать ее. Искусство заключается в ее построении, а ее построение пробуждает желание. Настоящее завораживает читателя, но печалит миссис Флеминг; приходится читать дальше, по мере того как повествование откатывается в прошлое, чтобы выяснить почему. Писательница точно знает, где прервать сюжетную линию.

Она вызывает неумное любопытство и преспокойно отказывается удовлетворить его. Постепенно выманиваемый из настоящего читатель видит Антонию матерью, женой, любовницей, дочерью, и наконец – просто самой собой. Ее история рассказана с эмоциональной напряженностью и сугубо чувственной силой. Удрученность человеческим положением проглядывает под стилем, который искрится и бурлит, как то шампанское, в которое будущая новобрачная льет постыдные слезы.

Первый роман Элизабет Джейн Говард, «Красивый визит», завоевал премию Джона Ллевеллина Риза. Подумать только: роман «В перспективе», настолько зрелый и технически совершенный, был всего лишь ее второй книгой. Несмотря на ранние похвалы и внимание, Джейн с трудом удавалось зарабатывать себе на жизнь. Она происходила из среды, где о такой необходимости мало задумывались. В романе «В перспективе» род деятельности миссис Флеминг, указанный в ее паспорте, – «замужняя женщина». В этом мире мужчины не обязаны объясняться или отчитываться. Созданные для того, чтобы их всячески ублажали, они ставят перед собой цель вылепить из женщины устраивающую их, если не идеальную жену. Конрад Флеминг стремится сформировать Антонию. Это человек безупречного самомнения, безукоризненного эгоизма. Современные молодые читательницы, возможно, воспримут этот персонаж скептически. И напрасно: он описан с полной достоверностью. Это голос позавчерашнего дня и вместе с тем голос минувших веков.

Опять-таки нас может озадачить наивность и безволие Джун Стокер, званым ужином в честь помолвки которой открывается повествование. Но Джун с ее розовой пудрой и трепетной нерешительностью – самая обычная девушка ее времени и социального слоя; точно так же как дочь миссис Флеминг, Дейрдре, обычна своим вызывающим поведением, эмоциональным балансированием на грани и поиском мужчины, который воздаст ей должное. Автор уделяет этим людям всю полноту внимания. Творчески и точно она описывает бесконечное множество мелочей, составляющих текстуру их жизни.

Именно благодаря этой точности она увлекает заинтересованного читателя за собой исследовать всевозможные нюансы чувств. Этот автор понимает, что такое порыв, потому что чувствует пьянящее возбуждение. Она чувствует и прохладный ветер на улице, и зябкий сквознячок беспокойства. В тот же момент как эти чувства испытаны, они описаны – пригвождены к странице. Ни внешний, ни внутренний мир не имеют привилегий один перед другим, но в каждой фразе схвачена их взаимосвязь: чистый свет логики и намерения, пестрая и пятнистая тень подсознательных влечений, полуоформленных желаний. У автора острый глаз и слух, но ее суждения великодушны и сдержанны. Она уважает своих персонажей. Никто из них не существует для того, чтобы его презирали. Конрад, к примеру, «изучает конфликты», оставляя за собой след нанесенного ущерба и зная, что женщины наведут порядок. Но он остроумен и порой на удивление пронизателен и добр; мы понимаем, почему Антония увлекается им. В этих романах даже чудовища питают пристрастие к любви. Кем бы они ни были – робкими простушками или закоренелыми эгоистами, – они жаждут милости. И цепляются за веру в то, что кто-нибудь разглядит за их сумасбродством надежность. Ищут того, кто прочтет их и останется рядом с ними, будет знать худшее, но продолжать перелистывать страницы.

Элизабет Джейн Говард родилась в 1923 году в состоятельной, имеющей большие связи и несчастной семье. Ее отец и его брат руководили лесоторговой компанией – не столько руководили, сколько «просто славно проводили время», как говорила она. Они это заслужили. Ее отец был призван в армию в семнадцать лет, выжил в Первую мировую войну на Западном фронте, привез домой Военный крест. Отцом он был ласковым, но двуличным и ненадежным. Боязнь девочки, смешанная с увлеченностью, стала источником вдохновения для романов о Казалетах, атмосфера которых далеко не так уютна, как может показаться. Брак ее родителей и их последующие отношения вместе с отношениями самой Джейн послужили наглядным образцом кризисных ситуаций почти для всех написанных ею книг. «Есть только два типа людей, –

рассуждает Конрад в романе «В перспективе», – те, кто ведет разную жизнь с одними и теми же супругами, и те, чья жизнь одинакова с разными...» Это лишь одно из множества подобных желчных наблюдений – емко выраженных и болезненно-точных.

Мать Джейн, Кит, была разочаровавшейся танцовщицей. Карьерой она пожертвовала ради брака. Мир профессионального танца настолько суров и полон испытаний, что трудно сказать в конкретном случае, предопределило ли ее выбор подозрение, что она просто недостаточно талантлива. Юноши средних способностей уезжали за границу, их резюме сводилось к аббревиатуре FILTH – «failed in London, try Hong Kong» («провалился в Лондоне – пробуй в Гонконге»). Свернув с пути раскрытия своего потенциала, женщины могли предпочесть брак как ссылку, зачастую с сомнительным результатом. По-видимому, Кит не любила свою дочь. Возможно, ревновала к ней. Джейн обладала эффектной внешностью. В ее романах взрослые с завистью, смешанной с восхищением, смотрят на того, кто в наименьшей мере заслуживает зависти, – на подростка, кишачее скопище сомнений. Формального образования Джейн почти не получила, зато она много читала. А учительница музыки наделила ее еще одним ценным умением – «как учиться: как взять на себя труд и продолжать брать его».

На краткое время Джейн стала актрисой. Вторая мировая война уничтожила ее надежды на актерскую карьеру. Подобно миссис Флеминг, она видела «стремительные взлеты и падения стоимости жизни, словно на взбесившейся фондовой бирже». В такой атмосфере решения принимались быстро – не было никаких взглядов в перспективу. Джейн минуло девятнадцать, когда она вышла замуж за тридцатидвухлетнего натуралиста Питера Скотта, в то время морского офицера. Вечером накануне свадьбы мать спросила ее, известно ли ей что-нибудь о сексе, и назвала его «гадкой стороной» супружеской жизни. Дочь Джейн, Никола, родилась во время авианалета. Этот пережитой опыт был ужасен. Джейн знала, что должна запомнить его и использовать в будущем. Когда война закончилась, она ушла от мужа и маленькой дочери, чего мир не собирался ей прощать. Она перебралась в грязную квартирку в переулке у Бейкер-стрит – «голая лампочка на потолке, дощатые полы со множеством зловредных гвоздей... я была уверена лишь в одном: я хочу писать».

Был и еще один брак, краткий, с товарищем по ремеслу – писателем. Затем она стала второй женой Кингсли Эмиса, признанного и модного автора романов. Джейн хотела любви – и плотской, и любой другой; так она и говорила всю свою жизнь, проявляя смелость, потому что эти слова всегда воспринимались как признание в слабости. Первые годы замужества с Эмисом были полны радости и товарищества. Известна фотография, на которой пара работает, поставив рядом пишущие машинки. Она идет вразрез с самой сущностью этого ремесла. Джейн оказалась нанизанной на колючую проволоку парадокса. Она жаждала близости, а писательство требует уединения. Ей хотелось, чтобы ее ценили, а писателям этого зачастую не достается. Обстановка в доме была «кипучая» и богемная. Джейн вела хозяйство и готовила еду для гостей, среди которых попадались и привереды, и любители погостить подольше. Она была доброй и вдохновляющей мачехой для трех детей Эмиса. Брак получился, как говорил Мартин Эмис, «динамичный», но работа мужа занимала привилегированное положение, тогда как работа Джейн воспринималась как эпизодическая, выполняемая урывками, в свободное от естественных домашних обязанностей жены время.

За эти годы она написала ряд искрометных романов, полных описаний радостей жизни, при этом сама переживала периоды, когда была глубоко несчастна. Ее муж зарабатывал деньги и срывал аплодисменты, но она продолжала верить в свой талант. Воспитанные люди не устраивают суеты и не поднимают шума, внушала ей мать, даже когда рожают. Это предписание ведет к эмоциональной смерти, а не к творческому росту. Но если можно пережить боль, наверное, можно направить ее в нужное русло и поставить на пользу работе. В своих романах Джейн писала об обмане и самообмане. Подсчитывала цену лжи и стоимость истины. Видела причиненный ущерб, ущерб, отраженный и поглощенный. От Джейн Остин она узнала больше, чем

от родной матери. Комедия создается не тем писателем, который, прошедевствовав к письменному столу, объявляет: «А теперь я буду веселиться!» Она исходит от того, кто еле доползает до стола, истекая стыдом и отчаянием, и начинает добросовестно описывать, как обстоит дело. В этой приверженности подробностям страданий чувствуется наслаждение. Чем мрачнее, тем лучше: медленно и нехотя начинает проступать комедия.

Журналист Анджела Ламберт задавалась вопросом, почему «В перспективе» не признан одним из величайших романов XX века. Можно спросить также, почему литературное наследие Джейн в целом не оценено выше. Да, набор ее социальных ситуаций ограничен, но ведь и у Джейн Остин тоже. Как и в романах Остин, бурный потаенный поток тревоги грозит вырваться на поверхность праздной жизни. Это тревога о ресурсах. Достаточно ли я имею? Хватает ли денег в моем кошельке? Достаточно ли у меня заслуг перед миром? В разных сюжетах персонажи Элизабет Джейн Говард еле держатся на грани обнищания. В некоторых случаях деньги поступают из таинственных источников. Ее персонажи не распоряжаются этими источниками и не понимают их. В эмоциональном и финансовом отношении ее уязвимые героини едва сводят концы с концами. Даже если они имеют достаточно, они недостаточно знают.

Их безоружность, их уязвимость дает им право претендовать на самую обостренную чувствительность. Какое мне дело, спросят некоторые читатели, до печалей богачеев? Какое дело до того, что происходит на Кэмпден-Хилл-сквер? Но читатели, равнодушные к богатым персонажам, равнодушны и к бедным. Романы Джейн могут вызывать протест у тех, кто видит лишь то, что лежит на поверхности, и считает увиденное мещанством. Ее книгам противятся те, кто не любит еду, или кошек, или детей, или призраков, или удовольствие предельной точности в наблюдениях за миром природы или рукотворным миром: те, кто демонстративно игнорирует недавнее прошлое. Однако эти книги ценят те, кто открыт их обаянию, умственной одаренности и юмору, те, кто умеет прислушиваться к посланиям из мира, ценности которого отличаются от наших.

Однако подлинная причина, по которой эти книги остаются недооцененными, скажем прямо, в том, что они написаны женщиной. До совсем недавнего времени существовала категория книг «написаны женщинами для женщин». Существовала неофициально, поскольку была ничем не оправданна. Наряду с продуктами жанра, имеющими мало шансов на выживание, в нее входили произведения, написанные с большим мастерством, но в минорном ключе, романы, посвященные личной, а не общественной жизни. Такие романы редко пытаются поразить или спровоцировать читателя: напротив, несмотря на то что повествование может разворачиваться изобретательно и изощренно, все старания приложены для того, чтобы читатель чувствовал себя в нем непринужденно. Сдержанное и отточенное, оно не прибегает к тому, что Вальтер Скотт называл «категорической манерой выражения». Критически анализируя творчество Джейн Остин и восхищаясь им, Скотт увидел проблему: как можно оценить такую работу в соответствии с критериями, предназначенными для более крикливых произведений? Начиная с XVIII века эти романы были постыдным удовольствием для множества читателей и критиков – ими наслаждались, но с пренебрежением. Значение имела иерархия тем. Войне надлежало занимать больше места, нежели деторождению, несмотря на то что и в том и в другом случае проливалась кровь. Сожженные трупы ставились выше подгоревших кексов. Если женщина обращается к «мужским» темам, это не спасает ее от опошления; если мужчина снисходит до домашних тем, свободно пишет о любви, браке, детях, его превозносят за эмпатию и сдержанность, дают высокую оценку его бестрепетности, будто он рискнул отправиться к дикарям, чтобы добыть тайное знание. Порой само совершенство напрашивается на пренебрежительное отношение. Она наводит весь этот лоск, потому что не идет ни на какой риск. Ее работы безупречны, потому что они так незначительны. «Я пишу на двух дюймах слоновой кости, – иронизировала Джейн Остин, – столько труда, а результат ничтожен».

Джейн Остин освящена временем, хотя до сих пор находятся те, кто не понимает, из-за чего весь сыр-бор. На ее удачу, она была хорошей девочкой, которой хватило деликатности умереть молодой; и поскольку о ее личной жизни нечего сказать, а ее сердце защищено от исследований, критикам остается только обращаться к ее текстам. Карьера современных женщин не столь опрятна. Когда Элизабет Джейн Говард умерла в 2014 году в возрасте девяноста лет, «Дейли телеграф» назвал ее в некрологе «небезызвестной своей бурной личной жизнью». Прочие образцы «дани уважения» сосредоточили внимание на ее «провальных» любовных связях. У писателей-мужчин такие связи свидетельствуют о неукротимой мужской силе, а у женщин указывают на признак ошибочности суждений. Сесил Дэй-Льюис, Сирил Коннолли, Артур Кёстлер, Лори Ли и Кен Тайнен¹ значились среди ее побед, хотя, конечно, мир считал, что это перечисленные мужчины покорили ее. Разводы и разрывы могут нанести ущерб писателю-мужчине, но отметины от них воспринимаются как боевые шрамы. Его откровенные действия могут означать глупость и похоть, но предполагается, что на каком-то скрытом уровне его поступки служат его искусству. А женщина, принято считать, поступает опрометчиво просто потому, что ничего не может с собой поделаться. Она пользуется случаем, потому что ни на что другое ей не хватает ума. Ее судят и жалеют или судят и осуждают. Суждения о ее жизни вредят суждениям о ее работе.

Несмотря на то что такие авторы, как Вирджиния Вулф и Кэтрин Мэнсфилд открыли новый способ смотреть на мир, хорошие книги, написанные женщинами, перестают публиковаться и пропадают в безвестности: и не только, как в случае с писателями-мужчинами, из-за переменчивой моды, но и потому, что они с самого начала не были оценены по достоинству. В 80-х годах XX века феминистские издательства вернули их на полки. Элизабет Тейлор после периода забвения вновь стала популярной. Барбару Пим забыли, открыли заново, опять обрекли на положение диковинки. Порой какой-нибудь современный писатель открывает нам глаза: мы научились читать Элизабет Боуэн сквозь призму уважения к ней, проявленного Сарой Уотерс. Непростой путь Аниты Брукнер указал, что можно завоевать крупный приз, быть читаемой повсеместно и все-таки оставаться недооцененной. При всем ее позднем успехе, а может, именно из-за него, произведения Элизабет Джейн Говард воспринимаются неверно. Ее достоинства – безупречность построения, безукоризненная наблюдательность, убедительная, но безудержная техника письма. Может, они и не вызывают много шума, но каждому писателю есть чему у них поучиться. Преподавая литературное мастерство, ни одного автора я не рекомендую чаще и не озадачиваю этим студентов сильнее. Читайте ее, советую я, и читайте книги, которые читала она сама. В особенности рассмотрите эти два маленьких чуда – «В перспективе» и «После Джулиуса». Разберите их и постарайтесь понять, как они созданы.

Точную дату моего знакомства с Джейн я не помню. Это было в Королевском литературном обществе в конце 80-х годов прошлого века на одной из встреч общества в «Гайд-Парке». Сейчас КЛЮ процветает и обретается в другом месте, но в те дни эти унылые помещения, срок аренды которых истекал, мир, казалось, оставил далеко позади. Зная о том, что на верхних этажах царят пыль и обветшалость, а в цокольном – зябкое запустение, я не испытывала трепета ни при виде импозантных забытых комнат, ни при виде импозантных забытых членов общества, которые стояли, хмуро взирая на мир за пределами террасы. Порой, восхищаясь каким-либо писателем, не испытываешь желания подробнее узнать о нем. Наверняка мне попадались снимки Джейн, но я оставляла их без внимания. Мое воображение рисовало маленькое гибкое существо со стрижкой под мальчика и широкими рысьими глазами; ту, что если и говорит, то сухим шепотом. Действительность оказалась совсем иной. Джейн была высокой и статной, со

¹ Сесил Дэй-Льюис (1904–1972) – поэт, писатель, переводчик. Сирил Коннолли (1903–1974) – литературный критик. Артур Кёстлер (1905–1983) – писатель и журналист. Лори Ли (1914–1997) – писатель и сценарист. Кеннет Тайнен (1927–1980) – театральный критик и писатель.

звучным, напоминающим о былых эпохах, поставленным голосом. В ней, как я и предполагала, ощущалось нечто кошачье, но походила она скорее на львицу – чуть рыжеватую, властную и величественную, а не скрытную, с крадущейся походкой. Если бы она замурлыкала, наверняка задрожала бы вся комната. Она производила яркое впечатление сильной женщины.

Но в разговоре я выяснила, что она добра и непритязательна. В своей прозе она не забыла, каково быть молодой и неуверенной в себе, и сохранила дух наивной девушки в мудром и опытном теле. Казалось, она стесняется впечатления, которое производит, – старается не стереть его, а обуздать и смягчить, чтобы люди чувствовали себя с ней свободно. Иначе они не обнаружат себя, и ей будет нечего вынести из этой встречи. Ее интересовали люди, но не просто как писателя с пронзительным взглядом. Когда она взяла на себя труд стать моим другом, она стала другом и моему мужу, который не художник и не писатель. Последнюю свою опубликованную книгу она посвятила нам обоим. Это выглядело даже слишком щедро. Она подарила мне годы радости и наставлений, и мне кажется, я не отплатила ей тем же. В те годы мне недоставало энергии для дружбы, хотя она наверняка видела, что недостатка способности дружить я не испытываю. С работой у нас не очень складывалось, вместе мы появились только однажды, на небольшом мероприятии в книжном магазине. Она читала прекрасно. Сказывалась ее профессиональная подготовка, голос был сильным, каждая пауза – выверенной до микросекунды. Вместе с тем она читала естественно, с улыбкой, радуясь удовольствию слушателей. Я была счастлива, что романы о Казалетах принесли ей новых поклонников. Не меньше, чем ее стилем, я восхищалась ее стойкостью. Она продолжала писать до самой смерти – книгу под названием «Человеческая ошибка» («Human Error»). Жаль, что я не спросила, на каком из возможных вариантов сюжета она сосредоточила внимание.

Несомненно, лучшие из разговоров – те, которые так и не состоялись. Я чувствовала, что мы обе живем в надежде и зачастую только ею и живем. Мне всегда казалось: есть нечто такое, что я должна спросить у нее, или то, что ей суждено спросить у меня. Наутро после ее смерти у меня в числе многих других взяли интервью, я рассказывала о ней по радио. В то время я работала в Стратфорде-на-Эйвоне, поэтому воспользовалась студией RSC – «Королевской шекспировской труппы». Договоренность возникла в последнюю минуту, почти без предупреждения, я только что узнала о ее смерти, так что была не слишком красноречива. Но пока говорила, я совершенно отчетливо видела перед собой ее лицо. В Стратфорде она играла в юности, и наверняка ей понравилось бы то, что предлагал тот день: темная зимняя река, скользящие мимо лебеди, за исполосованными дождем окнами – репетиция новых пьес: человеческие тени, шорох шагов и шепот в тусклом свете, надежда – путем изменения и повторения своих ошибок – приблизиться к тому, чтобы все исправить. В романах Джейн Робки теряют свои сценарии, смелые забывают реплики, но спектакль каким-то образом складывается; высоко вскинув головы, чувствуя, как сердце уходит в пятки, ее персонажи устремляются в сумятицу обстоятельств. Каждая реплика – экспромт, каждый вздох сопряжен с риском. В пьесе говорится о поисках счастья, поисках любви. Бурные овации ждут смелых.

Хилари Мантел

Посвящается Э. М.

Часть 1 1950 год

1

Стало быть, вот как обстоит дело. Сегодня вечером в доме на Кэмпден-Хилл-сквер за стол должны сесть восемь человек. Миссис Флеминг устраивала званый ужин (банальности такого рода от нее ждали, и она послушно соответствовала), чтобы отпраздновать помолвку сына и Джун Стокер. Гостей просили явиться в промежуток с восьми без четверти до восьми ровно. По прибытии мужчин начнет любезно избавлять от их пальто, шляп, зонтов, вечерних газет и прочего личного уличного имущества бесценная Дороти, после чего их, низведенных до единообразия смокингов, пригласят подняться по крутой изогнутой лестнице в гостиную. Дамам предстоит взбираться на третий этаж, в спальню миссис Флеминг, где позднее она обнаружит чужую пудру, рассыпанную по ее туалетному столику, загадочные волосы оттенка, который не ассоциировался у нее ни с одной из гостей, застрявшие между зубьями ее гребня словенной кости, и сложный букет ничем не примечательных запахов. Когда женщины, стоя перед зеркалом миссис Флеминг, убедятся в том же, о чем думали о себе несколько ранее перед собственными зеркалами, и, возможно, одна из них оповестит остальных о каком-нибудь небольшом, но обидном открытии, касающемся ее внешности, и выслушает прохладные уверения в обратном, они стайкой осторожно спустятся по лестнице (на крутых поворотах которой так легко наступить на подол чьей-нибудь юбки) в гостиную, где застанут мужчин за напитками и миниатюрными закусками. Джун Стокер будет представлена обществу, которое в остальном давно перестало узнавать о себе хоть что-нибудь, что воодушевило или сблизило бы его, наметятся очертания ее обозримого будущего с Джулианом Флемингом (медовый месяц в Париже и квартира в Сент-Джонс-Вуде).

В свое время они сойдут в столовую – есть устриц, куропатку, холодное апельсиновое суфле и пить шампанское (из уважения к Джун Стокер). В разговоре безобидно смешаются положение в мире и положение Джун Стокер и Джулиана Флеминга в Сент-Джонс-Вуде. И в том и в другом случае любопытства и осведомленности не хватит, чтобы разжечь неподдельный интерес. После суфле женщины удалятся в гостиную (или в спальню миссис Флеминг) – сопоставлять потенциальный опыт Джун с их собственным, а мужчины за бренди (или портвейном, если мистер Флеминг вернется домой вовремя, чтобы декантировать его) продолжат извлекать экономическую, чтобы не сказать «финансовую», выгоду из положения Кореи. Общими стараниями вечер будет продолжаться в гостиной до тех пор, пока ближе к одиннадцати, в преддверии еще одного дня, в точности похожего на только что минувший, присутствующие не унесутся мыслями к возникшим в последнюю минуту сучкам и задоринкам: к заедающим воротам гаража, к срочным и невразумительным сообщениям по телефону, оставленным их иностранной прислугой, к перегоревшим лампочкам в настольных лампах и, возможно, даже к необходимости обсудить с кем-то из знакомых навязший в зубах вопрос о чем-нибудь совершённом обоюдно и без всякого удовольствия. Тогда они и покинут это приятное общество; Джулиан проводит Джун домой, а в гостиной останется миссис Флеминг в окружении пепельниц, стаканов из-под бренди, сплюснутых диванных подушек, и, возможно, мистера Флеминга.

Этот фактор, размышляла миссис Флеминг, – единственный за весь вечер наименее неопределенный, и даже его неопределенность – просто один вариант из двух возможных. Либо он останется, либо уйдет. Как все-таки альтернатива сокращает обзор и парализует воображе-

ние так, как не под силу сделать возможности. Бесчисленные и плотно уложенные возможности могли просыпаться подобно грибным спорам между такими альтернативами, как быть там или быть здесь; быть живым или мертвым, старым или молодым.

Миссис Флеминг захлопнула книгу, которую не читала, распрямилась, вставая с дивана, и направилась наверх переодеваться к ужину.

Вид даже с верхнего этажа этого дома открывался прекрасный и волнующий. В окнах по фасаду круто снижающийся под горку сквер, изобилующий лужайками, кустами и вековыми деревьями, увядающими и желтеющими в прохладном безмолвии солнечного света, заполнял собой взгляд, так что дома прямо по другую сторону сквера были едва видны, а чуть дальше вниз по склону холма совсем скрывались из виду. У самого подножия дома отсутствовали: сквер выходил прямо к автомагистрали, подобной «четвертой стене» театра или «зоне страха». Эффект из спальни миссис Флеминг получался загадочный и удовлетворительный: великий мегаполис, знающий свое место и время от времени напоминающий о себе далеким рокотом.

Вид из окон заднего фасада представлял собой почти передний в миниатюре, только вместо сквера узкие полосы садов за домами убегали вниз, пока не скрывались все, кроме черных наверху оград. За садами начинался наклонный ряд мюзон – коттеджей, перестроенных из конюшен и каретников, – каждый из которых хоть чем-нибудь да отличался от остальных, а за ним раскинулся Лондон под небом, которое угасающее солнце оставило гиацинтовым. Взглянув на мюзон, примыкающий к ее саду, миссис Флеминг заметила, что ее дочь вернулась с работы. Рука мужчины, или по крайней мере не Дейрдре (женщин ее дочь недолюбливала), задернула алые шторы. Миссис Флеминг в самом деле не питала никакого любопытства, ни непристойного, ни нравственного, к личной жизни своей дочери, зная только, что ей сопутствует драматически-симметричный конфликт. В ней неизменно участвовало двое мужчин – один заурядный и преданный, чье единственное отличие составляла решимость жениться на Дейрдре, несмотря на беспощадную нехватку шансов (другой, более привлекательный, был недостаточно хорош даже в большей мере, чем первый). Миссис Флеминг подозревала, что Дейрдре несчастна, но это подозрение не причиняло беспокойства, и поскольку Дейрдре была явно убеждена, что лишь обоюдное неведение и держит их на терпимом расстоянии, миссис Флеминг никогда не предпринимала попыток силой пробиться сквозь недоверие дочери. Кажется, тот, кто задернул шторы, должен прийти на ужин, но она никак не могла припомнить его имя...

* * *

Луи Вейл отпер свою квартиру на первом этаже дома по Керзон-стрит, захлопнул металлическую дверь, бросил портфель на кровать или диван (он предпочитал именовать его кроватью) и пустил воду в ванну. Его комната, одна из множества в огромном доме, напоминала камеру некоего привилегированного узника. Лишь самое необходимое, но при этом чрезвычайно дорогостоящее необходимое было симметрично расставлено в комнате столь тесной и темной, что колорит, неопрятность или же попусту отнимающие время мелочи любого рода оказались бы потерянными или непригодными в ней. Все, что только можно, было размещено вдоль стен. Шкаф для одежды, полка для спиртного, приемник; даже лампы, как раздувшиеся белые пиявки, жались к серой краске. Здесь стояло и приземистое кресло, и двухъярусный столик с пепельницей, телефоном и свежим номером «Архитектурного обозрения». Шторы были серые: он никогда их не раздвигал. Его ванная, оборудованная как маленькая операционная для таких целей, как купание и бритье, и теперь медленно наполняющаяся паром, была ослепительно, бескомпромиссно-белой. Он вынул из карманов все, что в них лежало, разделся и вымылся. Десять минут спустя он, уже одетый в смокинг, пил виски с водой. Над изголовьем его кровати был закреплен на стене шкафчик с выдвигаемым ящиком. Ручки он не имел, откры-

вался с помощью крошечного ключика. В ящике лежало три незапечатанных белых конверта. Он выбрал один, вытряхнул из него ключ от входной двери и запер ящик.

Машины он припарковал возле мюзюв, на Хиллсли-роуд, и сам открыл дверь квартиры Дейрдре Флеминг. Квартира была очень тесной и, как он отметил с неприязнью, находилась в переходном, очень женском состоянии неряшливости. В одном углу комнаты валялась куча одежды, ждущая стирки или чистки. Тарелки и стаканы (те самые, которыми они пользовались два вечера назад) стояли, составленные стопкой, на сушилке у раковины. На кровать или диван (Дейрдре предпочитала именовать ее диваном), с которой сняли постельное белье, небрежно набросили небрежного вида покрывало. Два недописанных письма лежали на столе рядом со свертком в коричневой бумаге, на котором не значился адрес. Корзина для бумаг переполнилась. На единственном стуле были развешаны поверх грязного посудного полотенца почти высохшие чулки. В большом ситейнике он обнаружил отмокающие в воде остатки старой курятины. Он заглянул в письма. Первое предназначалось ее отцу с благодарностью за чек, подаренный на день ее рождения, а второе, как он выяснил с пробуждающимся интересом, было адресовано ему. Ей казалось, что она должна ему написать, прочел он, ведь он никогда не дает ей возможности высказаться. Она понимала, что раздражает его, но из-за него она настолько несчастна, что больше не в силах молчать. Ей известно, что на самом деле он не любит ее, ведь если бы любил, наверняка лучше понимал бы ее. Если он действительно знает, каково ей, когда он не звонит или не придерживается каких-либо договоренностей, и считает ее попросту нелепой, не был бы он так любезен сообщить, но она не в состоянии поверить, что он знает. Не может быть, чтобы он желал кому-нибудь такого несчастья: она-то знает, какой он на самом деле в глубине души – совершенно не тот, за кого он себя выдает. Она понимает, что работа для него значит больше...

Здесь она остановилась. Опять она за свое, устало подумал он, положил письмо на прежнее место, и ему вдруг представилась Дейрдре – голая, старающаяся не расплакаться и ждущая любви. Она вынуждена расстаться с чувством собственного достоинства, чтобы наделить им меня. К тому времени как она окончательно перерастет свою романтичность, я перестану ее хотеть. Я гнусный подлец, продолжающий наживаться на ее эмоциональном капитале. Возможно, заключил он без особой убежденности, я считал, что она вселит в меня свою веру. Если бы она преуспела, мне следовало бы отблагодарить ее, но ведь она не преуспеет. У нее нет того, что для этого нужно, а мне нечем возместить ей недостающее.

Вдруг постаревший и расстроенный за нее, он задернул шторы, чтобы она сочла, что он пришел уже в темноте и не заметил ее письма. Потом он улегся в неудобную постель и уснул.

Он слышал, как она осторожно вторгается в его сон: открывает дверь небрежно, закрывает преувеличенно спокойно, пробует зажечь верхний свет – включает и выключает, затем торшер. Он чувствовал, как она стоит неподвижно посреди комнаты, глядя на него, и чуть было не открыл глаза, не прервал тайное обращение ее души к нему, а потом вспомнил письмо и остался неподвижен. Слышал, как она направилась к нему и остановилась, как зашуршала под ее пальцами бумага; слышал ее внезапный легкий вздох, который всегда завораживал его, и неопределенный шум сокрытия. А потом, не желая, чтобы его разбудила она, открыл глаза...

* * *

Джун Стокер вышла из кинотеатра «Плаза», нарыдавшись и в ошеломленном угаре, остановила такси и попросила отвезти ее к Глостер-Плейс как можно скорее. Ее не покидало неясное чувство опоздания: не куда-нибудь конкретно – ее ужин только без четверти восемь, а вечеринку с напитками у Томасов она собиралась пропустить, – а просто опоздания: в сущности, ей всегда так казалось, когда она тайно делала то, чего стыдилась. Потому что она бы лучше *умерла*, чем призналась матери, как провела день: одна, в кино, за просмотром фильма,

который в любой компании осудила бы как слезливую сентиментальщину. Ей он показался очень-очень грустным и, пожалуй, даже чистойшей правдой для девушек определенного рода. Вся суть романтики заключалась для Джун в наличии подходящего мужчины в неподходящих обстоятельствах, но почему-то она никак не могла вообразить в этих обстоятельствах Джулиана, несмотря на его отца, поведение которого и впрямь казалось довольно странным. Она побаивалась встречаться с ним: даже у Джулиана, так спокойно относившегося ко всему, похоже, эта перспектива вызывала некоторую неуверенность. С его матерью было легко, хотя Джун полагала, что нельзя судить по одной встрече. Свекровей принято считать ужасными, но видеться с ними часто вовсе не обязательно. Она открыла пудреницу и припудрила нос. Любой понял бы, что она плакала. Вид у нее был такой, словно слезы струились из всего лица, а не только из глаз. Она проскользнет к себе и отговорится головной болью. Теперь, когда она об этом подумала, у нее и вправду что-то вроде головной боли. Домой. Но недолго ему уже осталось быть моим домом, осознала она: у меня будет другая фамилия, и дом другой, и вся одежда новая (ну, почти вся), и мама уже не сможет постоянно спрашивать меня, где я была; но *очень надеюсь*, что Джулиан будет спрашивать, возвращаясь с работы, и мы станем звать к ужину наших друзей – из меня выйдет изумительный кулинар, он постоянно будет открывать во мне достоинства, о которых даже не подозревал... Интересно, каково это – провести целые две недели наедине с Джулианом...

Она расплатилась с таксистом и закрылась в лифте. Надо бы позвонить Джулиану и попросить заехать за ней домой, а не к Томасам. Каким-то он будет, этот званый ужин у его родителей. С толпой ужасно умных и интересных людей, которым она так и не сможет придумать что сказать. Она вздохнула и ощупью нашла ключ от входной двери.

Ангус, ее шотландский терьер, по привычке затыкал у ее ног, и конечно, мать позвала ее в гостиную. Она пила чай со своей давней школьной подругой, Джоселин Спеллфорт-Джонс. Первым делом Джун пришлось выслушать от матери, что она опоздала, что покраснелась, что никогда не закрывает за собой двери, а потом ей поступило расплывчатое и ничуть не заманчивое предложение от Джоселин Спеллфорт-Джонс «рассказать все по порядку». Никто, кроме мамы, и не подумал бы что-нибудь рассказать Джоселин: вероятно, поэтому она всегда так жаждет подробностей, думала Джун, и неизбежный румянец заливал ее лицо и шею, пока она слабо возражала, что рассказывать ей, право же, почти нечего. Миссис Стокер в притворном отчаянии воззрилась на лучшую подругу, Джоселин ответила ей взглядом и предложила Ангусу хорошенько обнюхать хозяйку. Но он, как благоразумный песик, отказался. Тогда Джоселин напомнила миссис Стокер, какими нелепыми они сами были в возрасте Джун, и рассказала довольно гадкую историю о семействе голубых фарфоровых зайчиков, которое после ее замужества по ее же настоянию переехало с каминной полки в ее прежней спальне на полку, предназначенную специально для них возле ее новой постели. Миссис Стокер прекрасно помнила этих зайчиков, а Джун решила, что самое время спастись бегством. Промямлив что-то про головную боль, она поднялась. И мать сразу же принялась засыпать ее вопросами. А туфли она нашла? Про Томасов не забыла? Что сказали в «Маршалле» насчет ее ночнушек? Ну, а *чем* же она тогда занималась весь день, если у нее вдруг разболелась голова? Джуди покраснела, отпиралась и в конце концов, сердитая и усталая, сбежала к себе.

У нее в спальне все было бледно-персиковым. Ей нравилось, но, когда она предложила выбрать тот же цвет для их новой квартиры, Джулиан сказал, что больше подойдет кремовый. Он нейтральнее, сказал он, и она сочла, что он прав. Она выскользнула из розового шерстяного платья, сбросила туфли, высыпала содержимое сумочки на край кровати. Ангус (слишком уж он растолстел) бесцельно потоптался вокруг ее туфель, потом запрыгнул на свое кресло, накрытое засаленным автомобильным ковриком из шотландки.

Если бы Джун не провела в слезах большую часть дня, то непременно расплакалась бы сейчас. Просто когда все должно складываться чудесно, почему-то ничего не выходит. Разу-

меется, дело главным образом в ужасной женщине, которая сидит у мамы и разглагольствует о своем браке с убийственной смесью глупости и злости, а мама, хотя на самом деле она совсем не такая, по крайней мере терпит, ничего не замечая. И вообще, ну что *сказать* о Джулиане? Работает в офисе, что-то там рекламирует – об этом она мало что знала, и, честно говоря, не очень-то интересно выглядело это занятие, а еще «говорили», что благодаря дяде и общей пригодности для этого поста он наверняка еще до тридцатилетия станет директором. А это, «говорили», в самом деле замечательно. Если бы не эти перспективы, Джулиан не смог бы жениться таким молодым, и поначалу им, несомненно, понадобилась бы осмотрительность. Она изо всех сил пыталась представить, что означает эта осмотрительность, но додумалась только до картофельных запеканок и отказа от поездок в Беркли. Джулиан твердо решил оставить машину при себе, а она просто не смогла бы укладывать волосы сама. Они были темно-каштановые, густые, довольно жесткие – противные волосы, хотя подруги уверяли, что ей повезло, ведь они выются от природы. Но Джулиан... Нет, внешне он довольно привлекательный, и мысли у них сходятся во многом: оба не очень-то верили в Бога, считали цирки весьма жестоким зрелищем, не доверяли новомодным методам воспитания детей и... и так далее. Много чего еще. Они познакомились на танцах и обручились в машине Джулиана у озера Серпентайн. С тех пор прошел всего месяц, тот вечер выдался просто чудесным, и она думала о нем так часто, что теперь не могла толком вспомнить – вот занудство. Вечер помолвки полагается запомнить навсегда. Джулиан, кажется, немного нервничал – и ей это нравилось – и говорил о них так быстро, только когда прикасался к ней, тогда вообще не говорил. Она до сих пор помнила прикосновение его пальцев к своей шее сзади, прямо перед тем, как он ее поцеловал. Больше он никогда не придерживал ее голову так, как в тот раз, а она не смела попросить, потому что, если бы он согласился, все было бы уже не так. И она жила воспоминаниями о той легкой дрожи и надеждой, что она вернется и охватит ее, когда позволят обстоятельства.

Ну вот, а через неделю она выходит замуж, и все, кроме этой мерзкой Джоселин (а она не в счет), так милы с ней из-за этого. Ведь она как-никак единственный ребенок: маме со всеми ее лихорадочными заботами, наверное, станет немножко одиноко, когда все кончится, и Джулиан – единственный сын. Скверно приходится родителям: после стольких лет беспокойства от них вдруг уходят. Она задумалась, не против ли миссис Флеминг. Со своей матерью Джулиан, казалось, не особенно «близок», по выражению ее матери. Может, миссис Флеминг больше по душе сестра Джулиана. Или же все ее чувства отданы выдающемуся (и, наверное, блистательному) мужу. О нем чего только не говорят. По-видимому, в семейной жизни он почти не принимал участия, и от этого мама начала относиться к миссис Флеминг гораздо теплее, чем стала бы в противном случае. Джун знала, что ее мать не доверяет своим ровесницам, которые не выглядят на свой возраст, но частые отлучки мистера Флеминга из обоих его домов вызвали у мамы сочувствие к миссис Флеминг.

Джун сидела за своим розовым туалетным столиком, снимая макияж: ярко-красную губную помаду, слой розовой пудры, некрасиво выделяющийся на ее раскрасневшемся лице. Румянами она не пользовалась: если часто краснеешь, это фатально, – а ресницы у нее от природы были темными и густыми, как у ребенка. Она зачесала волосы назад от широкого невысокого лба, перевязала их обрывком старой розовой ленты. Привлекательности придавала ей ранняя юность, и именно из-за этой юности она считала себя совершенно непривлекательной. Как же ей исполнять эти ритуалы, если рядом всегда будет муж? Что он подумает, когда впервые увидит ее такой? Невозможно при нем заколоть волосы и нанести крем на ночь, но как же тогда оставаться привлекательной, если этого не делать? Надо спросить у Памелы, которая замужем уже почти год, но Памела выглядит сногшибательно, по-другому, конечно, но все так же сногшибательно без всякого макияжа, в то время как она смотрится просто школьницей, которой не дали привести себя в порядок. А потом, словно чтобы убедить себя, что она уже не школьница, она бросилась к двери, заперла ее на засов, сорвала с себя всю оставшуюся одежду

и закурила. Вот теперь, думала она, она похожа на неприличную французскую карточку. И уж конечно, не на школьницу. Теперь-то она и позвонит Джулиану.

Только потянувшись за телефоном, она с потрясением, затопившим ее карие глаза внезапными слезами благоразумия, поняла, что ни за что, даже если Джулиан спросит, не расскажет ему, что провела день одна в кино.

Она натянула на плечи покрывало с кровати и сняла трубку.

* * *

Мистер Флеминг поставил телефон обратно на полку и снова погрузился в ванну. У него выдался чрезвычайно утомительный день, и от ванны ему становилось гораздо лучше. Известие об ужине, устроенном женой в честь их сына, он воспринял спокойно и решил, что явится на него с опозданием. Одним из его тайных удовольствий было подстраивать социальные проигрыши против самого себя. Казалось, он ни на миг не задумывается об усилиях, предпринятых добрыми или чуткими людьми, чтобы уравнять шансы, а если у него и возникали подобные мысли, он воспринимал их с отстраненным и насмешливым удивлением и вновь строил козни.

Свободомыслящий наставник в его закрытой частной школе однажды аккуратно написал поперек уголка его табеля: «Блистательный, но зловредный». В то время это определение привело мистера Флеминга в восторг, и с тех пор он его придерживался. Оно и впрямь завело его чрезвычайно далеко. На протяжении строительства нескольких поразительно успешных карьер (он прогремел, сдавая экзамены на диплом бухгалтера-эксперта, вел победоносную войну, служа на флоте, в итоге очутился в торговле ценными бумагами, сорвал банк на фондовой бирже необыкновенно удачливо и мастерски и почти случайно приступил к учебе в качестве студента-правоведа) он был сосредоточен на себе со свирепой объективностью, и так до тех пор, пока сейчас, в возрасте, который лишь прибавил ему притягательности, не выстроил личность столь же замысловатую, загадочную и несообразную, как архитектурный каприз девятнадцатого века. Он поочередно культивировал информацию, власть, деньги и свои чувства, никогда не позволяя ни одному из перечисленных оказывать на него исключительное влияние. Неуемное любопытство позволило ему накопить изрядные познания, которые его находчивость и здравомыслие общими усилиями распространяли или утаивали, дабы властвовать над идеями и людьми. Он делал деньги из того и другого, причем люди не сознавали этого отчетливо, поскольку обычно бывали настолько ослеплены его вниманием, что забывали о собственных целях. Душевым человеком он бывал в тех случаях, когда удосуживался показать это. Но в целом его ничуть не заботили другие люди, и в равной мере он не ждал и не желал от них заботы о нем. Его просто и всецело заботил он сам, и ныне он считал, что наконец-то стал человеком, который ему по душе. Единственным существом в мире, доставлявшим ему мгновения беспокойства, была его жена, и то лишь потому, считал он, что в один период их жизни он позволил себе слишком открыться ей. Косвенным результатом явились их дети, которые, явно иллюстрируя теорию евгеники Шоу, в остальном были, по мнению мистера Флеминга, следствием неверно понятого светского энтузиазма. Сын внушал ему скуку. Он не сомневался, что Джулиан женится на необычайно и даже прискорбно заурядной девушке, и единственное смягчающее обстоятельство этого брака – крайняя молодость Джулиана – с учетом его работы и характера вряд ли играла значительную роль. Вероятно, он предпримет попытку вырваться лет в тридцать или около того и к тому времени уже будет иметь двух или трех ребятишек и жену, которая, истощив все свои скудные ресурсы, чтобы пленить его поначалу, в то же время будет обладать губительной осведомленностью о его поведении. Это неизбежно приведет к тому, что он ее оставит (если и впрямь поставит перед собой такую цель) по совершенно превратным причинам.

Свою дочь он считал бедствием более утонченного свойства. Несомненно, привлекательная, она хоть и не была глупа, но не обладала достаточным для обаяния интеллектуальным багажом. Ее интеллект был импульсивным, и у нее не имелось причин ни поддерживать эти импульсы, ни противостоять им. Ей предстояло ошибочно считать своей жизнью мужчин, которые пользуются ею, и работу, которая этого не делает, и так до тех пор, пока увядающая привлекательность и суждения, движимые страхом, не заставят ее выйти замуж. Это если не произойдет чуда. Мистер Флеминг верил лишь в чудеса, сотворенные им самим – «вручную», как объяснил бы он с бесхитростным выражением, которое у него на лице выглядело весьма бесовским. Все вышеупомянутое явилось результатом стараний его жены быть хорошей матерью, он же, настроенный предельно оптимистично, никаким отцом быть не старался.

Бессчетное множество женщин задавали ему вопрос, почему он женился на своей жене, и он забавлялся, слушая, насколько разные доли любопытства, обеспокоенности и неприязни они ухитрялись вкладывать в этот коротенький провокационный вопрос. Не меньше он забавлялся, отвечая (и с пренебрежением отвергая такие заезженные оправдания, как молодость или неопытность) с обилием удивительных и явно относящихся к обстоятельствам подробностей; так, чтобы продлить их надежды, возбудить их интерес или опровергнуть их гипотезы, всякий раз (а он никогда не рассказывал одну и ту же историю дважды) обнаруживая, что не существует пределов и границ человеческой способности верить. Действовал он, по его мнению, в лучшей манере из возможных. Он никогда не принижал жену даже косвенным образом. Просто пристраивал, так сказать, еще один ярус к конструкции своей личности и предлагал его конкретной даме во временное владение: она могла рискованным образом угнездиться в насыщенной и странной атмосфере этого места, которое ее без труда убеждали считать уединенным замком.

Он выкупался, он оделся.

В спальне он окинул взглядом путаницу простыней, влажных шелковистых волос и голых обиженных рук – со слабым, очень слабым интересом. Когда несколько часов назад он отказался поужинать с ней, она начала наживать на этом обстоятельстве эмоциональный капитал. Его замечание, что для нее однообразие и есть вкус жизни, повергло ее в состояние оскорбленного театрального молчания, и он прекрасно понимал, что она ждала, когда это молчание нарушит он сам. Вместо этого он положил на туалетный столик две пятифунтовые купюры и немного мелочи, придавил их ее флаконом духов «Карон» и вышел. Его сместила реакция женщин на этот шаг: он всегда утверждал, что, когда в театре на сцену швыряют пенни, актеры оскорбляются исключительно в связи с достоинством этих монет. Соверены дали бы иной результат. Сентиментальные женщины (таковых был легион) возвращали купюры и оставляли себе мелочь. Профессионалки оставляли себе все деньги и больше никогда о них не упоминали. Романтичные и неопытные возвращали все до пенни, а потом еще несколько недель обсуждали этот случай с разной степенью неискреннего негодования (этих он научился избегать). Одна женщина оставила деньги несколько дней лежать на туалетном столике в отеле, а потом, когда они покидали этот отель, объявила, что деньги предназначены в качестве чаевых для горничной; еще одна оставила себе купюры и вернула ему мелочь как пожертвование в пользу его чувствительности.

Он вызвал такси и отправился в свой клуб выпить и сделать несколько телефонных звонков. Пришло время, считал он, для некоторых кардинальных перемен...

* * *

Лейла Толбэт позвонила к себе домой – сказать горничной, чтобы передала няне, чтобы дети не ждали, так как она задержится у дамского мастера, позвонила к Томасам – сказать, что опоздает к ним на вечеринку (боже, они ведь просили ее приехать пораньше), позвонила

к Флемингам – сказать, что опоздает на ужин, потому что опоздает к Томасам. А затем, легким стоном демонстрируя гордость своими организационными способностями, осторожно расположилась в электрическом сушиаре. Большинство гостей теперь опаздывают, никого не предупреждая, – в наше время никаких манер у людей...

* * *

Хотел бы я обойтись с ним действительно грубо. В самом деле, возмутительно, думал Джозеф Флеминг, сражаясь подагрическими пальцами с черным галстуком-бабочкой. К старшему брату он испытывал такую острую антипатию столько долгих лет, что даже в ожидании встречи с ним позволил себе предварительный разгул ненависти. Волны его мыслей набегали, отступали и разбивались о скалы братовой заносчивости, его успеха у других мужчин, у любых женщин, в денежных делах (его профессия раздражала тем, что, казалось, сочетала в себе непрерывную вереницу женщин с притоком денег), и наконец – у этой совокупной загадки, целого мира. Миссис Флеминг он тоже не любил, впрочем, он вообще не любил женщин, недолюбливал других мужчин, которым они нравились, и питал отвращение к каждому, кому когда-либо нравился его брат.

Отличительной особенностью Джозефа была сильная подагра, особенно рук, хотя красного вина он не пил. Он знал, что вариации на тему злости, которым он сейчас предавался, вызовут у него сильный голод, что за ужином он будет есть слишком много и слишком быстро и что проведет бессонную ночь с несварением. Характерно для него было и то, что каким бы ничтожным ему ни казалось собственное желание побывать на ужине на Кэмпден-Хилл-сквер с целью знакомства с некой бойкой крошкой, окружившей этого чертова щенка, его племянника (и, вероятно, небольшой компанией зануд, с которыми ему так часто приходилось встречаться раньше), ничто не смогло бы заставить его пропустить этот ужин. По его ощущениям у него начиналась очередная чудовищная простуда... но он все-таки пойдет, хотя как можно ожидать, что такой вечер окажется приятным, выходит за грань его понимания.

2

Все сидели вокруг стола и ели устрицы. Джун сказала, что обожает их. Лейла Толбэт сказала, что это так замечательно – в первый раз есть их каждый сентябрь. Джозеф сказал, что однажды в своем клубе познакомился с человеком, который жил в Новой Зеландии, так вот там достаточно сунуть руку в какую-нибудь прибрежную лужу, чтобы наловить устриц. Мистер Флеминг заметил, что, если бы они доставались настолько легко, вряд ли ему бы их захотелось. Дейрдре сказала, что жизнь в Новой Зеландии в любом случае должна хоть *как-то* вознаграждаться. Луи, который в основном молчал, сказал, что он там родился, и на этом, с Дейрдре, впавшей в эмоциональную агонию, тема иссякла.

Проявляя формальный интерес, миссис Флеминг выяснила, что Луи Вейл – архитектор, член «Георгианской группы»² и автор, публикующий в нескольких дружественных журналах статьи на такие темы, как планы известных и давным-давно снесенных особняков. Разговор оживился, как случилось бы с монологом умных молодых мужчин, посвященным их карьере и обращенным к умной и благосклонной женщине, и продолжался до того момента, пока Дейрдре не смягчилась, увидев, с какой удачной стороны проявил себя ее любовник (она не слушала, что говорит Луи, – только улавливала впечатление от его слов), Джозеф, не сумев завладеть вниманием Лейлы Толбэт в условиях такой конкуренции, начал внутренне кипеть

² «Георгианская группа» – национальная благотворительная организация по защите георгианских зданий и ландшафтов.

и бурлить, как вулкан, а мистер Флеминг подался вперед и с обманчивой деликатностью осведомился у Луи, что он сейчас проектирует или чем занимается.

Луи осекся, поплыл, сказал, что преподает студентам-второкурсникам и что (тут он затараторил) проектирует блочные общественные уборные... разумеется, для установки по всей стране.

В последующие мгновения георгианские, или якобы георгианские, образы рассыпались в прах в паузе – такой краткой, но при этом такой многозначительной, что к ее концу все сознавали присутствие друг друга остро и безжалостно, как выжившие при землетрясении. Джозеф думал: написать его смог бы Стивенсон, только Стивенсон. Он злодей – злодей-интеллектуал.

Дейрдре, очутившись во власти эмоций – ненависти к отцу, обиды на мать, – вдруг увидела Луи отдельно от себя, каким он скорее всего был до знакомства с ней, каким стал сейчас, без нее; отшатнувшись от ее отца, он словно отгородился от нее. Напрасно выплеснувшееся эмоциональное отчаяние ошеломило ее, так что на миг она стала несомненно и сокрушительно прекрасной – веки отяжелели по-боттичеллиевски, несчастье упростило барочные очертания рта. Непроизвольно она бросила взгляд на мать, но у той под контролем был каждый мускул на лице. Собственные мысли и чувства настолько занимали мать, что у нее не должно было находиться времени на принадлежащие еще кому-либо. Но чудесным образом нашлось. Подавшись вперед, путем безупречно светских манипуляций она вернула Луи веру в себя. Архитектуре вновь ничто не угрожало: Джозеф опять завладел вниманием Лейлы Толбэт, а мистер Флеминг бесстрастно перешел к препарированию Джун, которая, как знали почти все, включая мистера Флеминга, едва ли могла считаться честной добычей... в сущности, с его стороны это было моментальное признание. В глазах публики Джун быстренько низвели на низшую ступень умственной неразвитости. Темно-зеленый и ярко-красный цвета напоминали ей об остролисте, который, в свою очередь, напоминал ей о Рождестве, а оно – о детстве. Не будь она настолько простодушна, она понимала бы, насколько распространены подобные реакции. Будь она поопытнее, помешала бы сделать все эти открытия, относящиеся к ней. Но, будучи такой, какая она была (в том числе и согласно предположениям мистера Флеминга), она краснела и сыпала школьными штампами и неистребимыми банальностями, которые читала и произносила с тех пор, как ее научили читать и говорить, однако ее ограниченность и смущение были настолько заурядными, что доставили мистеру Флемингу мало удовольствия. Джун была миленькая, невежественная, зажата, нервная, лишенная воображения девушка, прямо-таки созданная для того, чтобы производить себе подобных, и, глядя на нее, мистер Флеминг обнаружил, что ему с трудом верится в «Происхождение видов».

Джулиан смаковал куропатку и соображал, чем, черт возьми, будет *заниматься* с Джун в Париже. В конце концов, есть же рамки, притом весьма жесткие, если она никогда прежде ни с кем не бывала в постели. Это он одобрял, но ввиду того же обстоятельства медовый месяц с ней предвещал нечто вроде испытания. Убеждая себя, что справится, он с вызовом перебрал в памяти собственный опыт: местная интеллектуалка легкого поведения в Оксфорде; та поразительная женщина, с которой он познакомился на охоте в Норфолке; и миссис Трэверс, неизменно возбуждающая в свои сорок с лишним лет. Странно: хоть он и побывал с ней в постели четыре раза, мысленно он по-прежнему называл ее «миссис Трэверс». Порой он пытался небрежно произнести про себя «Изобел», но результат ни разу не устроил его. У миссис Трэверс имелись муж, любовник, живущий в ее доме, и целая вереница молодых мужчин. Нрав у нее был прекрасный, она совершенно беспечно лгала им всем и, пока они делали вид, будто верят ей, была очень добра к ним. От нее он узнал, что все должно длиться вдвое дольше, чем он считал необходимым; но, за исключением ее досадной привычки (когда она увлекалась по иным причинам) называть его Десмондом, этот эпизод оказался столь же приятным, сколь и поучительным.

Подкрепленный этими мимолетными утрированными воспоминаниями, он надменно решил, что Гаррисона, пожалуй, лучше все-таки не увольнять. Гаррисон служил у них офис-менеджером и занимал эту должность почти двадцать лет. В сущности, Джулиан был не в том положении, чтобы увольнять его, но любой человек хоть с каплей воображения заметил бы, что методы Гаррисона безнадежно устарели и что его единственная забота (то есть снижение накладных расходов) начинает серьезно препятствовать развитию и даже портит репутацию фирмы. Своей должностью Гаррисон был обязан изворотливой дальновидности по отношению к дяде Джозефу, и заключалась она главным образом в тошнотворно диккенсовской и ничемной памяти на вражду и распри, которой дядя Джулиана, сам никогда и ничего не помнивший, от души наслаждался. Ладно, подумать об увольнении Гаррисона можно и в Париже. Он втайне хотел, чтобы Париж поскорее остался позади; Джун сказала, что вообще-то не говорит по-французски, и ни у кого из них не было там близких знакомых, но все же будет машина и можно ходить в кино. Джун считала, что французские фильмы гораздо лучше английских или американских – как раз сейчас она говорила об этом его отцу, и он, чтоб его, расспрашивал, почему она так думает. Бедняжка, она вся раскраснелась и, конечно, понятия не имела почему. С внезапно вспыхнувшим стремлением оберегать ее, он коснулся ее руки, нервно комкающей под столом салфетку. От его прикосновения она повернулась к нему с такой сияющей благодарностью улыбкой, что на миг он понял, что любит ее.

Слушая сложного в общении и привлекательного молодого человека Дейрдре, миссис Флеминг изучала лицо своего мужа – в настоящий момент неприкрыто, почти оскорбительно лишенное выражения, – а тем временем он выяснял у Джун ее предубеждения и пристрастия. Это отсутствие выражения было настолько полным, что она в него не верила, хотя наблюдала множество раз, и теперь вглядывалась пристальнее обычного (возможно, из желания защитить Джун?) – искала на его лице какие-нибудь следы ума. Но его большой бледный лоб был гладким; бледно-голубые, почти круглые глаза не имели даже известной пристальности искусственных; а его губы – такие непохожие друг на друга, настолько непарные, что невозможно было думать про них «рот», – касались одна другой и разделялись во время еды или разговоров, словно их не интересовало ни то ни другое. Миссис Флеминг полагала, что в такие моменты мозг ее мужа неистово работает, но отгораживался он так привычно и всецело, что она никогда не знала этого наверняка. Вероятно, ему было скучно. После первых трех лет их совместной жизни следующие двадцать она провела в борьбе с его скукой и, как внезапно поняла она сейчас, без малейшей надежды на успех, так как с самого начала он непредсказуемо и неумолимо противостоял ей. Именно он предложил устроить этот званый ужин; он воспротивился ее малейшей попытке оживить этот ужин менее подконтрольными гостями, и она, будучи в обособленном и опасном положении, зная лишь половину его замысла, не стала настаивать.

Теперь же, внезапно закончив с Джун, он наклонился к Дейрдре и негромко произнес педантичным тоном:

– А ты, дорогая моя Дейрдре, ни в коем случае не отвечай на письма до тех пор, пока ожидание получателя не будет притуплено отчаянием. И ты никогда не станешь Клариссой. Голос подведет тебя в телефонном разговоре, и твоя добродетель, не в силах уклониться каким-либо цивилизованным способом, беспокойно перевернется в своей двойной могиле.

А Дейрдре, зная отца достаточно хорошо, чтобы не благодарить его за подарок на день рождения, отозвалась:

– Дорогой мой папа, какой интерес может представлять для тебя мой голос или моя добродетель?

На что он с еле заметным проблеском злокозненности ответил:

– Никакого – если не считать того, что я изучаю конфликты, – и кротко уставился на свое апельсиновое суфле.

Миссис Флеминг поспешно уступила Луи Вейла Дейрдре для возобновления беседы. Сколько раз она сидела за этим столом, препятствуя вылазкам мужа – стоило чуть поспешить, и он оставался недоволен, чуть промедлить, и гостям бывал нанесен ущерб; и, вероятно, хуже всего было действовать вовремя, в чем он видел вызов и предпринимал еще более убийственные и изощренные атаки – неизменно против людей, лишенных остроумия или уверенности, чтобы дать отпор (как ему этого хотелось бы). Однажды она пригрозила вывести его из себя, но он, игнорируя тот факт, что это невозможно, заставил ее замолчать, заявив просто, что ситуация между двумя состоящими в браке людьми так мучительно знакома им, что потребность сделать ее загадкой для всех остальных безусловно очевидна. Не то чтобы она его боялась, но за двадцать три года он в буквальном смысле изнурил ее, следовательно, она никогда не предпринимала попыток публично расстроить его планы. Должно быть, предположила она, у него выдался тяжелый день. И она повернулась к Джозефу – он, как было известно ей, недолюбливал ее с простотой и непримиримостью, которые она находила трогательными и порой даже милыми.

Луи, понимая, что его бросили на прорыв, собрал зачатки агрессии и самообладания, оценил силы мистера Флеминга (причем неверно) – и был незамедлительно оконфужен выбранными мистером Флемингом работами Беллами³, к которым он приложил весь вес и многогранность своего ума. Вскоре они уже затерялись на высотах Тиуанако. Дейрдре необдуманно попыталась упомянуть пирамиды, но мистер Флеминг мягко отмел их, как куличики, и продолжал излагать и развивать теории Беллами, демонстрируя благожелательную блистательность, в которой Луи еще недавно отказывал ему.

Лейла Толбэт принадлежала к тем женщинам, которые беседуют с мужчинами о себе, а с женщинами – о других людях. Когда же она не занималась ни тем, ни другим, она строго оценивала собственную внешность и гораздо менее строго – внешность других присутствующих женщин (в одиночестве она оставалась редко). Она понаблюдала за Джун и заметила, что та недостаточно опытна, аккуратна или богата, чтобы надеть свои лучшие чулки с длинным платьем; что она безрадостно и безуспешно колебалась между викторианскими и эдвардианскими фамильными драгоценностями и «бижутерией»; что у нее явные затруднения с прической и что она сбросила вес с тех пор, как купила палевое шелковое джерси, которое сейчас было на ней. А затем Лейла, пока ела суфле, повернулась, как всегда делала в таких случаях, к хозяйке дома. С миссис Флеминг она была знакома уже очень давно, и их дружба, ни в коей мере не близкая, не отягощенная ни соперничеством, ни интересом, вызванным симпатией, доставляла им тем не менее некоторое удовольствие как женщинам, знающим друг друга двадцать с лишним лет, при этом ни одна из сторон не разглашала мимолетных и вводящих в заблуждение подробностей своей частной жизни. Даже когда муж миссис Толбэт погиб в авиакатастрофе, она не призналась миссис Флеминг, насколько ей все равно и какое чувство вины в ней вызывает собственное равнодушие; но миссис Флеминг немногословно и изобретательно проявляла к ней в то время доброту, и она это помнила. Лейла держала свои догадки насчет жизни миссис Флеминг с мужем при себе – большего она не сделала бы ни для кого другого. Ей казалось, что миссис Флеминг пробуждает в ней лучшие чувства, и, хотя это означало ее нежелание видиться с миссис Флеминг слишком часто, ей нравилось, что ее принимают за сдержанную, незаинтересованную в частных делах, надежную особу, наделенную интеллектом в большей мере, чем на самом деле.

Однако в тот момент она свойственным ей образом озаботилась внешностью подруги: ее волосами, по-прежнему темными и густыми, но уже продернутыми одиночными чисто-белыми ниточками, заметными даже сейчас, при свечах, – особенно бросающимися в глаза, по мне-

³ Эдвард Беллами (1850–1898) – американский писатель и политический деятель, известный своим утопическим романом «Взгляд назад».

нию Лейлы, потому что хозяйка носила волосы без пробора аккуратно собранными на затылке; ее кожей – гладкой, ровного оттенка пергамента; ее глазами, которые выглядели так, словно становились временами ярко-голубыми и выгорели до оттенка воды под каким-то яростным светом. Если не считать глаз, в ее чертах не было ничего примечательного, но их абсолютная правильность и соразмерность придавали ей отличие особого рода, приятную и редкую элегантность, вероятно в большей степени преобладающую и, во всяком случае, являющуюся предметом осознанных стремлений во времена Джейн Остин чаще, чем сейчас. Вот чем объясняется, заключила Лейла, ее загадочное отсутствие возраста: она просто-напросто принадлежит к другой эпохе... и теперь стремительно приближается к положению бабушки. К собственным троим детям, в равной мере непривлекательным, десяти, двенадцати и четырнадцати лет от роду Лейла относилась как к жуткой одежде массового производства и благодарила Бога хотя бы за то, что им еще далеко до того возраста, когда они, вероятнее всего, начнут досажать ей внуками.

Наконец взгляд хозяйки положил конец ее умозаключениям. Четыре дамы направились наверх, а миссис Флеминг, указав им путь к своей спальне, одна удалилась в гостиную готовить кофе.

У камина на подносе стояли четыре чашки, и это означало, что мистер Флеминг занят тем же делом на нижнем этаже. Миссис Флеминг готовила превосходный кофе, но ей ни разу не удалось угодить им мужу. Когда кофе варил он, напиток таинственным образом получался нездешним, со вкусом под стать цветку и столь немыслимо горячим, что, казалось, от него лопнут хрупкие чашечки. Она готовила кофе и, как ей казалось, ни о чем не думала, но, когда в комнату вошла Джун и по ее приглашению робко присела рядом на банкетку, поняла, что и муж, и Джулиан, и Дейрдре носились у нее в голове, как нескончаемая и не приносящая удовлетворения fuga, которая не останавливалась и не могла остановиться, пока для нее не находилось решение или пока ее не прерывали.

Кажется, Джун нервничала, ожидая, что этот тет-а-тет станет допросом на предмет ее способности позаботиться о Джулиане. Напрасными были мягкие попытки миссис Флеминг завести разговор о Париже и новой квартире: Джун пресекала каждую, тоном оправдания заявляя о своих талантах хозяйки и даже матери. Когда же Джун спросила, можно ли ей научиться варить кофе так же, как это делает миссис Флеминг, которую столь неуклюжее заискивание неприятно встревожило, к ним зашла Дейрдре, сообщив, что Лейла звонит Томасам, где, как ей кажется, она забыла портсигар. И ласково попросила у матери ее совершенно отвратного кофе:

– Ты готовишь его, как какой-нибудь лечебный чай, а папа – как наркотик: тот же кофе, та же посуда. Не знаю, как это у вас получается.

Миссис Флеминг отозвалась:

– Видимо, люди навязывают кофе свою натуру, – и улыбнулась Джун, вид у которой был такой, словно Дейрдре уронила на нее кирпич. – Сигареты, – строго продолжала она, обращаясь к дочери, – на каминной полке.

Дейрдре дотянулась до пачки, протянула ее Джун, помогла ей прикурить и сама затянулась.

– Вас все еще засыпают жуткими подарками? – спросила она с участием, в котором тем не менее сквозила агрессия.

– Во множестве, – с несчастным видом улыбнулась Джун. Она боялась Дейрдре и не любила ее.

– А я еще ничего вам не подарила. Чего бы вам хотелось?

Вздернутая на дыбе этой бессердечной щедрости, Джун ограничилась тем, что посоветовала Дейрдре лучше спросить у Джулиана.

– Ох уж этот *Джулиан*. Никогда не знает, чего он хочет на самом деле. – Она вдруг вскочила и бросила в камин едва закуренную сигарету. – Мама, можно мне бренди?

– Пока не нашли, но продолжают поиски. Если так и не найдут, я методично повторю весь вчерашний день в обратном порядке! – Оставив дверь приоткрытой, Лейла рухнула в кресло.

Миссис Флеминг негромко заметила: «Прямо как в пьесе мистера Пристли» – и подала ей кофе.

– Благодарю. Да, я бы оценила. Но слишком уж это угнетает. Этот портсигар я нашла не далее как на прошлой неделе, когда в предыдущий раз считала его потерянным навсегда.

Джун думала, что мать Лейлы явно никогда не делала ей замечания за незакрытые двери. Она пожелилась, и миссис Флеминг, которая подогрела бокалы, налила ей бренди.

Дейрдре безжалостно продолжала:

– А мы как раз пытались решить, что же мне преподнести Джун в качестве свадебного подарка.

– Ах, дорогая моя, это ужасная головоломка. Но имейте в виду: весь отвратительный хлам и тошнотворные поздравления, которые вам достанутся на свадьбу, не идут ни в какое сравнение с теми, которые вы получите после рождения ребенка. Можно мне сигарету?

Дейрдре подала ей пачку, снова закурила, посмотрела на сигарету и оставила ее в пепельнице.

– Все эти кошмарные книги о развитии и весе ребенка в каждый мыслимый момент, гадкие желтые вязаные пальтишки (ну почему *обязательно* желтые?), письма из больницы, фотографии чужих детей, чтобы вы заранее увидели, как неприятно будет выглядеть ваше чадо, когда подрастет, и эти щеточки, расчесочки, вещички сплошь в феечках; прямо какое-то засилье Маргарет Таррант и Уолта Диснея под глазурью из боженки. О! Я пришлю вам два десятка марлевых подгузников.

Миссис Флеминг забавлялась, и Джун, слегка шокированная, как раз смеялась, когда Дейрдре неловким движением сбила в сторону камина свой бокал с бренди и тот разбился весь, кроме ножки. Не обращая на него внимания, она направилась к двери.

– Страшенный сквозняк, – объявила она и вернулась к битому стеклу.

Миссис Флеминг хотела было заговорить, но посмотрела в предвещающее бурю лицо дочери и удержалась. «Что-то не так, совсем не так, но я не узнаю, что именно, пока уже не будет важно, знаю я или нет, и, наверное, так и должно быть. Мне лишь кажется, что я могу избавить ее от излишней сердечной расточительности; а может, мне лишь кажется, что я должна ее спасти. О-хо-хо, какая досадная ошибка – прислушиваться к своим мыслям. Но разнообразие этой ошибки бесконечно, поэтому совершать ее составляет главное удовольствие в жизни». Вслух она сказала:

– Убери осколки, дорогая. Ты же знаешь, как к этому относится твой отец, когда что-нибудь бьется.

– Не думаю, что он вообще относится к чему-нибудь, пока оно *не* разобьется.

Однако она собрала все осколки, которые сумела найти, и завернула их в вечернюю газету.

Лейла и Джун радостно завели увлекательный разговор на такую бесспорную тему, как повсеместная дороговизна. Скривив губы, Дейрдре обвела отчаянным взглядом комнату. Она унаследовала его способность скучать, с тревогой отметила миссис Флеминг, зная бы, неужели она...

В этот момент в комнату вошли мужчины: вернулись после загадочных, изобилующих специальными терминами разговоров о деньгах, сексе, кровожадных наклонностях северных корейцев, обсудив фундаментальное так же поверхностно, как женщины в гостиной – поверхностное фундаментально. Через полчаса после неловкого объединения компания распалась.

Мистер Флеминг не выказал никакого желания поддержать распад, но проводил гостей до двери в настойчивой хозяйской манере, оставив миссис Флеминг в гостиной. Он уверен, что она устала, так он сказал...

* * *

Джулиан посадил Джун в машину, захлопнул дверцу и, пока обходил вокруг к своей стороне, произнес что-то, чего она не расслышала. Когда он включил зажигание, она спросила, что он сказал. (Этот ритуал им предстояло повторять до тех пор, пока его монотонность не начала провоцировать их на ссоры в машинах.) Но сейчас он решил, что с ее стороны это довольно мило – обращать внимание на все, что он говорит.

– Сказал, что этот холм для начала – даже хорошо, потому что машину вот уже несколько недель не заряжали как следует.

Он отпустил тормоз, и они покатались вниз с холма, пока мотор не завелся и машину не тряхнуло.

– А в Париже? – спросила Джун.

– А что с ним?

– Если не заведется.

– А, *это*. Завтра утром подзарядится.

После паузы Джун осторожно произнесла:

– Мне нравится твоя мама. Но все твои родные чуточку пугают.

– Что ж, родственникам со стороны супруга только и остается, что пугать или нагонять скуку. И, пожалуй, лучше, если они начнут с первого.

– Но твоя мама ведь милая, – напомнила Джун, желая выяснить, насколько милой Джулиан считает свою мать.

Однако ответил он равнодушно:

– С ней все в порядке. Совершенно безупречное существо. А вот мой отец – это не игрушки.

– Зато все вокруг игрушки для *него*.

– Знаешь, я ведь тоже так считаю. *Умно* с твоей стороны!

Эти слова он произнес с таким удивлением, что она могла бы рассмеяться, но поскольку была слишком молода и так мало знала о людях, то обиделась и заявила:

– В людях я разбираюсь. Люди – это мое.

– Господи! Люди – это твое!

Цепочка фонарей на Бейсуотер-роуд протянулась перед ними, как скверный сонет Дугласа о Лондоне.

– Красивые они, правда?

– Кто?

– Да эти фонари вдоль середины улицы.

– Ужасно красивые. И ни одного полицейского поблизости, да? – Он прибавил скорость.

Минуту погодя Джун спросила:

– Трудный у тебя выдался день?

– Не особенно. Утомительный. Разбирался с делами.

Она ждала, что он поинтересуется, как прошел ее день, чтобы вкратце рассказать ему про кино, но он не спросил. Они уже подъезжали к Мраморной арке, и он спохватился:

– Черт. Надо было свернуть налево.

Возле ее дома он заглушил двигатель и снял шляпу. У Мраморной арки она решила сказать ему именно в этот момент – по-быстрому, – прямо перед тем, как он поцелует ее, потому что от его желания поцеловать ее все выглядело не таким постыдным или нелепым: но его расчетливая медлительность, которая показалась ей и опытной, и бессердечной, вновь напугала ее. Она не знала, что медлил он просто потому, что нервничал.

И она ему не сказала.

* * *

Дейдре и Луи торопливо ушли вместе, оставив Лейлу и Джозефа дожидаться такси, которое вызвал по телефону Джулиан. Луи ушел с сожалением, а Дейдре – с облегчением, усугубленным явным нежеланием Луи завершать вечер. Она видела, что оба ее родителя произвели на него впечатление, но если отчасти страстно желала этого, то так же страстно желала, чтобы Луи считался с ней «ради нее самой», как говорили женщины, подразумевая некое неуловимое влечение, которым, как им казалось, они не обладали.

В молчании они прошли несколько ярдов вверх по склону холма и свернули за угол, к мюзам на Хиллсли-роуд, возле которых стояла машина Луи. Вид этой машины спровоцировал у Дейдре приступ упрямства, очень похожего на панику. Она твердо решила промолчать, но ее тайное «я» бубнило и умоляло то жалко, то ожесточенно: круг ее безмерного недоверия ко всем, начиная с себя, замкнулся, и, к тому времени как они остановились у ее двери и у машины Луи, ничто сказанное ею уже не имело бы никакого значения, и она могла бы сказать что угодно, если бы Луи не опередил ее.

– Я проведу тебя внутрь на всякий случай, а потом, *пожалуй*, поеду спать к себе... дорогая, – добавил он. Он молился (в более сдержанных выражениях), чтобы Дейдре тоже оказалась уставшей – спокойной, но уставшей. Однако она круто обернулась к нему, держась за неудобно высокую дверную ручку, и ее широко раскрытые глаза горели страстной просьбой. Он шагнул ближе с готовностью хотеть ее, но она отмахнулась пальцами левой руки в страстном жесте отрицания (кисти у нее были как у матери – элегантные, выразительные кисти); ее брови поднялись и задрожали от унижения, и она отвернулась от него к двери.

На миг он по-настоящему испугался ее... испугался опасных глубин ее эмоций, которые словно начисто вымели из нее всю гордость и оставили их обоих в пустыне тревожного молчания и нервных рук: потом он вспомнил про письмо и сердито подумал, что присущее ей чувство драмы делает ее нелепой, а жизнь с ней – невыносимой; почему даже ее отчаяние в некотором роде эротично, так каких же чувств она *ожидает* от него?

Стараясь не впускать раздражение в голос, он продолжал: «Но завтра вечером я увижусь с тобой», а потом, так и не дождавшись от нее ответа: «Дейдре, ну в чем дело?» (Это наверняка разговорит ее.)

Не глядя на него, она сказала:

– В необходимости *просить* тебя остаться. Для меня это невыносимо. Быть вынужденной просить тебя. И это просто наводит тебя на мысль, что...

Она говорила очень медленно, будто выбор слов давался ей с трудом, а когда стало легче, умолкла, явно испугавшись того, куда слова могут привести ее.

Луи думал: женщины чувствительны к температуре ровно в той мере, в какой им скучно. Сам он страшно замерз. И сказал вслух:

– Ну, дорогая Дейдре, довольно часто, чему я только рад, ты *в самом деле* хочешь лечь со мной в постель. И столь же часто тебе кажется, что ты не хочешь, а потом оказывается, что нет. А если ты просто не прочь поговорить со мной, почему бы не подождать до завтра? Обещаю, я буду слушать гораздо внимательнее...

– Но мне же надо кое-что сказать тебе! – воскликнула она так, будто это проясняло ситуацию.

«Ах ты ж, то чертово письмо», – подумал он: вспомнил, как она юна, как несведуща в тонких законах эмоционального предложения и спроса, и решил обойтись с ней мягко, но действовать при этом так, чтобы больше она никогда уже не загоняла их в ситуацию такого рода.

– Хорошо, но только если ты откроешь дверь и я пройду к тебе в гостиную.

Она открыла дверь, начала подниматься по крутой хлипкой лестнице, но, не дойдя до площадки, обернулась к нему и объявила с принужденной легкостью:

– Дорогой мой Луи, уверяю тебя: в данном конкретном случае наживка – это я.

Он заметил, что она дрожит всем телом, и с невольным страхом впервые отнесся к ней серьезно. Письмо, вспомнил он, оно было незаконченным...

* * *

«Если ей *известно*, что я живу в Чилтерн-Корте, а она – в Пелэм-Кресент, с какой стати она рассчитывает, что я сяду в такси вместе с ней? Только чтобы ей было с кем поболтать и заплатить за нее, черт бы ее побрал». В ожидании такси Джозеф угрюмо поглядывал на Лейлу Толбэт и за эти несколько бесконечных минут умудрился свалить вину за эту женскую хитрость на брата. К миссис Толбэт он относился особенно неприязненно потому, что она была не только женщина, но и вдова, а он взирал на всех вдов с эгоцентричной подозрительностью: независимо от возраста все они считались хищницами и сходили за тигриц-людоедок. На протяжении всего вечера миссис Толбэт с равнодушной пристрастностью дарила своим вниманием всех сотрапезников и этим лишь сильнее злила его: он ядовито расценил ее поведение как еще одно доказательство ее изворотливости.

В итоге их поездка в такси вышла отнюдь не приятной. Лейла нервничала и скучала. Она испробовала три-четыре темы – настолько безынтересные, что заслуживали ответа из вежливости, но своими невнятными междометиями он привел ее в замешательство. Ей было известно, что он страстно увлечен чем-то этаким... (монетами или пещерами?), но серьезные разговоры в такси она считала пережитком прошлого.

У Пелэм-Кресент она поблагодарила его, предприняла попытку заплатить свою долю, а потом, выходя из машины и даже не думая придавать хоть какое-нибудь значение собственным словам, заметила:

– Знаете, мне надо было сказать вам что-то ужасно важное, но я никак не могу вспомнить, что именно. – Выдержав паузу, она добавила: – Придется мне вам позвонить.

И она сразу же забыла об этом, но Джозеф с изнурительным недоверием обдумывал услышанное всю дорогу до Чилтерн-Корта и на протяжении последующей ночи, пока мучился несварением.

* * *

Мистер Флеминг запер дверь за последними из своих гостей и задумчиво направился к столику эбенового дерева, на котором раньше заметил стопку адресованных ему конвертов. Он сунул их в карман, вернулся к двери, отпер засов и поднялся по лестнице в гостиную.

Она подняла глаза от книги – он усомнился, что она в самом деле читала, – и он бесшумно прикрыл дверь за собой...

3

Миссис Флеминг сидела в полной неподвижности там, где мистер Флеминг оставил ее. Ее разум пребывал в том же состоянии покоя, что и тело: готовый к некоему шагу, который, как она считала, должен быть собранным и продуманным, чтобы ей не пострадать. Все слова, мысли и содрогания, которые приписывают потрясениям такого рода, пронеслись сквозь нее, отвергаемые ее зрелым разумом как неуместные. Боязнь сделать, или сказать что-то, или стать чем-то пагубным для гордости, которую она оберегала так долго, на протяжении мучительной

череды стремительных нападков и компромиссов, противопоставленных ей, была так сильна, что парализовала волю. Речь шла не просто о слезах или оскорблениях, прекрасных своей легкостью способами выкрутиться, к которым прибегают в затруднительных случаях дети и политические агитаторы: у нее не было ни твердых поверхностных убеждений, чтобы на них опереться, ни личного уголка, где она могла бы скрыться от смущения, ни богоподобного существа, источающего беспристрастную любовь и мудрость, к которому она могла бы обратиться... только скелет предстоящих ей примерно двадцати пяти лет, который ей придется обрести пересаженной тканью своей жизни.

И она сидела совершенно неподвижно в окружении кофейных чашек и бокалов из-под бренди, до тех пор пока спустя долгое время после того, как погас огонь и вместе с золой по комнате незаметно распространилась легкая прохлада, – только тогда она сознала, что ей очень, очень холодно и что его нет уже почти три часа.

* * *

Проснуться было все равно что родиться: «Мы не годимся друг для друга», – говорил он, и не раз, а вновь и вновь, и слезы струились по ее лицу.

Она подумывала оставить Джулиана завтракать внизу одного, но, когда сон и проклятые повторы отступили, поняла, как глупа эта уступка своей слабости. Проснувшись в обычное время и, проходя рутину начала дня, размышляла о том, как неумолимо люди с возрастом вделываются в механику их жизни. К тому времени как Дороти внесла чай и лимонный сок, она уже лежала в очень горячей ванне.

В своей ванной она сделала два открытия. Ее мысли, как правило, вольготно предающиеся ее излюбленной игре – поиску связи между вычитанными ею идеями и увиденными событиями или людьми, с которыми она встречалась (зачастую итогом этих поисков становился какой-нибудь выпендренный вывод – несерьезное, но приятное занятие для того, кто наслаждается утром), теперь были самым недвусмысленным образом обращены внутрь ее самой. В лихорадочном, мерзком предвкушении они толклись вокруг полулежащего обнаженного тела миссис Флеминг, словно она попала в некую аварию, и теперь они, ничем не помогая, ожидали дальнейшего развития событий – того, что ее уберут с места происшествия, в сущности, ее смерти.

Вторым открытием стал ее возраст. Возраст – то, что применялось к другим людям, как в общем, так и в частности: это они выглядели старше своих лет, им было всего двадцать два, они прекрасно сохранились для своих сорока трех, однако собственное взросление – твердение тела и размягчение ума; предпочтение и отклонение того, что можно и нельзя делать, или говорить, или думать; столь постепенное приобретение опыта и привычек: этих живых картин было так много, что они не выглядели (да и не были) заметно отличающимися одна от другой, пока не случалось то, что настойчиво предьявляло всю эту частную коллекцию ее владельцу; расхождения в поведении и внешности буквально кричали о годах, из которых складывался возраст, эхом отзывались под анфиладой сводов памяти, которую изменили – что они были новыми, что они устарели. И что ей уже сорок три.

Она расчесала, уложила и заколола волосы, размышляя, в каком возрасте люди наиболее уязвимы: когда они очень молоды, наделены дерзкой и прекрасной стойкостью, влюблены в себя и в каждого, кто любит их, или позднее, когда опыт есть с чем сравнить и будущих возможностей убавилось, или еще позже, в самой чаще сумрачного леса, где деревья впереди до ужаса похожи на те, что остались позади, а подлесок прошлого цепляется, льнет, ранит, пока они идут дальше. Наверное, уязвимее всего они напоследок, когда конец, во всяком случае, неотвратимо виден даже близоруким – на полянке, где можно лишь лежать неподвижно и спать как убитый.

Она накрасилась так, чтобы сделать свое лицо знакомым для тех, кто, в сущности, не знал его, и сошла вниз, чтобы позавтракать вместе с сыном.

Джулиан, которого от «Таймс» отвлекла груда поздравительных писем – все еще поступающее следствие его помолвки, был не в духе, как обычно рано утром. Когда вошла миссис Флеминг, он уничтожил тост, вскрывал конверты и в молчаливой досаде отбрасывал их содержимое неп прочитанным. Он терпеть не мог писать письма и, будучи цельным и последовательным человеком, терпеть не мог получать их.

– Мам, слушай, неужели и тебе пришлось так же мучиться, когда ты выходила замуж?

Миссис Флеминг закончила наливать себе кофе и лишь потом ответила:

– Пожалуй, даже сильнее, ведь у людей тогда было больше досуга, но, к счастью, я совершенно этого не помню.

За время последовавшей краткой паузы миссис Флеминг успела подумать о том, насколько старой, должно быть, сочтет ее Джулиан, если она не помнит письма, которые получила, когда вышла замуж. Потом он сказал:

– Вообще-то письмами могла бы заняться и Джун. Ей же не надо работать целыми днями.

– Ей хватает своих писем и одежды, не говоря уже о новой квартире. И потом, только представь, как возмутятся некоторые из твоих друзей, если им ответит она. Право, Джулиан, в тебе стремление нарушать приличия...

– ...Развито необычайно: прямо хоть в треклятую богему, – закончил он. В таком легкомысленном виде дошло до них выражение одного из двоюродных дедушек. Оно никого не рассмешило; в эту традиционную ловушку время от времени попадались они и Дейдре.

– Ладно, тогда Свинке на них ответит. – И Джулиан начал сгребать письма в рассыпающиеся кучки.

Миссис Флеминг сказала:

– Порой я теряюсь в догадках, нравится ли ей вообще, что ее так зовут.

– Свинке? Ну, раз это продолжается уже двадцать два года, она наверняка привыкла. Она же единственная секретарша во всем офисе, у которой есть прозвище. Пожалуй, выяснится даже, что она им гордится. – Он поднялся из-за стола, прижимая к себе охапку конвертов. – Мама, женщины вроде Свинке привыкают к *чему угодно*. Им приходится. К ужину не жди. – И он вышел.

Нет, она не сказала Джулиану, просто не смогла.

Она направилась вверх – написать мужу, что Джулиана незачем беспокоить их личными делами до тех пор, пока он не женится и не вернется из Парижа. «Разумеется, лучше его вообще никогда не *беспокоить*... – писала она. – И не стоит ему даже говорить. Полагаю, ты будешь присутствовать на его свадьбе». В их действительности последние слова означали обращенную к нему отчаянную просьбу присутствовать: настолько запутанными, невыразительными и окольными стали мысли и желания, которыми они обменивались.

Знакомая неопределенность, которую эти нетипичные требования всегда вызывали, остановила ее и заставила задуматься, и эти размышления прервал телефон. Ее сердце резко и неприятно дрогнуло, она взяла трубку.

Но это был Луи Вейл.

Его голос звучал гораздо старше его лет, старше и ответственнее. Он спрашивал, нельзя ли с ней увидеться. Мм, да, пожалуй. Ему известно, насколько странной может показаться эта просьба, но не могла бы она пообедать с ним? Странной – в смысле так внезапно, тем более что они едва знакомы, добавил он. Говорил он со спокойствием, свидетельствующим о затаянном волнении. Миссис Флеминг предложила ему зайти на обед к ней на Кэмпден-Хилл-сквер. Он согласился с признательностью, в которой, как она отметила, сквозило отчаяние, скрытое за его хорошими манерами. Старательно, но не слишком внятно он поблагодарил ее за вчерашний ужин и повесил трубку.

«По-моему, не пригласи я его сюда, он отважился бы попроситься в гости сам». Внезапно она вспомнила о Дейдрре и в бездумной панике набрала ее рабочий номер. Там было занято, и, пока она ждала, когда линия освободится, Луи позвонил снова. На этот раз он был не на шутку смущен. Он понимает, насколько абсурдна его просьба, но не могла бы она никому не говорить, что он придет к ней на обед? *Никому?* Разумеется, он и не ждал, что она поспешит сообщать всем и каждому эту новость, но совсем позабыл пояснить, что хотел бы повидаться с ней негласным образом... кстати, он не доставит ей неудобств – она будет одна? Она заверила его в этом, потом спросила, не знает ли он, на работе сейчас Дейдрре или нет. Нет, сегодня у нее неприсутственный день, ответил он, потом добавил:

– Собственно говоря, она уехала на весь день. Вечером вернется, если не ошибаюсь.

Миссис Флеминг, вздохнув с облегчением, сказала, что будет ждать его к половине первого.

– Вы чрезвычайно добры. Чрезвычайно, – повторил он и повесил трубку.

«Видимо, хочет поговорить о Дейдрре. Но, в самом деле, зачем столько шума». Она ощутила легкое раздражение, которое так часто следовало за безосновательными вспышками паники, подписала письмо к мужу, надресовала адрес его клуба и сошла вниз распорядиться насчет обеда.

Луи явился в двенадцать двадцать пять.

Первым, что они втайне отметили друг о друге, было то, что выглядели оба так, будто не спали. Он приписал это обстоятельство ее возрасту, она – его молодости и явной нервозности. Они пили херес и пытались проявить снисходительность один к другому (накануне вечером она выглядела такой привлекательной, а теперь казалась иссушенной, лишенной присущей ей особой притягательности – дневным светом или неромантическим нарядом?): она старалась провести их через разговорную прелюдию к тому, о чем он пришел поговорить (выглядел он определенно осунувшимся; словно был униженно пьян, или случайно убил кого-нибудь, или узнал, что через полгода умрет), пока наконец не обнаружила, что оба в отчаянии поглядывают на часы и пытаются рассчитать и распределить время. Тут она сообразила, как ему хочется начать, но он боится и прикидывает, что перейти в столовую им предстоит через несколько минут.

– Вы предпочли бы дождаться, когда мы устроимся внизу, а потом сказать мне то, что намеревались, или прямо сейчас и начать? Мы обедаем в час.

Он снова взглянул на часы, потом на нее. У нее была манера по-особому смотреть на собеседника в конце каждой фразы – совершенно прямым и бесстрастным взглядом, который придавал своего рода достоинство и значимость даже ее самым банальным замечаниям и казался ему тогда изощреннейшим сочетанием обаяния и хороших манер. Если бы он не нервничал так отчаянно и если бы его не мучило от предстоящей задачи в целом, обед с ней доставил бы ему удовольствие. Но теперь...

– Трудность заключается в том, – объяснил он, – что, если я не начну сейчас же, мне вообще не хватит духу начать; но если я начну, а нам помешают, для меня... ситуация в целом станет... – Он сбил пепел с сигареты на ковер и наступил на него. – Ах, черт, надо ж было так оплошать... – Он был слишком встревожен, чтобы добавить еще что-нибудь, и положение стало неустойчивым, шатким и быстро теряло равновесие.

Миссис Флеминг отозвалась:

– Если вы поможете, думаю, нам будет лучше перенести обед сюда, наверх, где гораздо теплее и нас не потревожит Дороти.

Он благодарно и неуклюже поднялся и осторожно отнес два больших подноса по узкой лестнице, а миссис Флеминг тем временем договорилась с Дороти, чтобы не нарушала их уединение. Наконец они устроились по обе стороны от камина, с едой на тарелках и виски в стакане

Луи. Миссис Флеминг спокойно принялась за обед, которого ей ничуть не хотелось. Подходящий момент наступил внезапно.

– Если вы примиритесь с тем фактом, что я по крайней мере считаю себя вправе рассказать вам все это, возможно, вы простите меня за то, как именно я вам это расскажу. Видите ли, я все думал и думал и мысленно репетировал свои слова, представлял, как начну, а теперь они кажутся такими бессмысленными. Пожалуй, я постараюсь высказаться просто и кратко, несмотря на шок.

– Мне, конечно, придется оставить при себе свое мнение о том, вправе ли вы рассказывать мне это вообще.

– Конечно, вам придется. – Он глотнул виски и устался на свою нетронутую еду.

– Дейрдре ждет ребенка. Этот ребенок, вне всяких сомнений, мой. По-видимому, она уже некоторое время знала об этом, но мне сообщила лишь вчера ночью. Я знаю, она хочет, чтобы я женился на ней, хоть она об этом и не говорила. А о ребенке не сказала сразу, как и о том, что хочет за меня замуж, потому что ей известно, что я не хочу жениться на ней.

Последовала краткая пауза: он прокашлялся и взглянул на нее. Она не смотрела на него, ее лицо оставалось безучастным. «Господи, выразиться хуже было попросту невозможно, – думал он. – Что она подумает теперь?» Он пробежался по всем возможным направлениям ее мысли в напрасной попытке уловить то, что выберет она. И ничего не нашел, ничего не почувствовал.

– Конечно, из этого положения есть пара выходов, – продолжал он, – но они не так просты, как могло показаться. Вероятно, мне они кажутся более сложными, чем вам.

Миссис Флеминг отпила воды.

– Послушайте, – снова заговорил он: ее молчание вгоняло его в такую умственную наготу, что, по его мнению, ей было неприлично оставаться наедине с ним. – Я пришел сюда не для того, чтобы оправдывать свое поведение или уклоняться от ответственности. Но мое признание не имеет смысла, если я не расскажу вам *всей правды* и вы не поверите мне.

– Но *почему* вы мне об этом говорите?

– Потому что честно не знаю, как быть, – ответил он. – Я должен что-то предпринять, и вы казались мне... то есть прошлым вечером казались... человеком, который поймет, как надо поступить. В любой критической ситуации. Прошлым вечером. Вы очень сильно презираете меня за это?

Она почувствовала в нем почти подсознательное стремление разрядить обстановку, на что в нынешних обстоятельствах он едва ли имел право, и сказала:

– Знаете, почему так легко принимать решения за других? Не просто в силу объективности. А потому, что, если я приму решение за вас, мне не придется выполнять его. И если я ошибусь в выборе решения, отвечать за это все равно будете вы.

– Да?

– Может, было бы лучше, если бы вы описали свое поведение и ответственность. У меня нет четкого представления о том, как вы относитесь к тому и к другому.

Он подумал, что это сарказм, и взглянул на нее, ожидая увидеть запятнанное им лицо, но нет, это был не сарказм, и к нему пришла новая мысль: она просто точна в своих словах, и дай мне бог быть честным и точным с ней. Вслух он сказал:

– В некотором смысле очевидным решением для меня было бы жениться на Дейрдре. Беда в том, что я не люблю ее, и со мной она будет совершенно несчастна. В настоящий момент я не хочу жениться ни на ком, и даже теперь я уже неверен Дейрдре. Но вряд ли будет нечестно сказать, что и она не любит меня. Мысленно она представляет меня ничуть не похожим на настоящего и часто страдает из-за того, что я не соответствую тому, что она хочет видеть во мне. При прочих равных условиях она в конце концов разочаровалась бы во мне и создала бы

такой же образ другого мужчины. – Он помолчал, пытаясь в тишине оценить ее заинтересованность и неодобрение, но опять не смог. Он чувствовал только, что она вся внимание.

– Еще одним решением было бы для нее не иметь ребенка. К сожалению, прошлой ночью я начал с предположения, что она не захочет его, и конечно, предложил ей все устроить. Но обнаружил, что она полна решимости ребенка сохранить. Прежде чем я скажу нечто еще более возмутительное, хочу заверить вас, что хоть я и не люблю Дейдре, она очень дорога мне; я считаю, что несу за нее ответственность и готов, если так будет лучше для нее, жениться на ней. И конечно, я готов также – да, я помню, что я это уже говорил, – заняться, то есть заботиться...

– В сущности, речь идет не о любви или деньгах, – спокойно произнесла миссис Флеминг.

Он резко оторвал взгляд от своего портсигара (есть он даже не пытался), и его довольно вялые трагические черты оживило недоумение. Что бы она ни предлагала – утешение, неприязнь, совет, помощь, – это понимание было недоступно его умственным способностям. Всю силу своей мысли, свой интеллект, упорство и интуицию Луи всегда вкладывал в собственную карьеру, ограничивая (что было легко) личные отношения в основном женщинами, в жизни которых господствовали эмоции и чувства. По сути дела, в свои двадцать семь он оказался на верном пути к успеху; в данном случае – как образец человека массового производства, «не оснащенный человеческим сердцем». Однако, попав в затруднительное положение, он искренне стремился руководствоваться принципами, которые не вполне понимал, но знал, что они не обязательно способствуют его успеху. Ему было всего двадцать семь лет.

О чем-то подобном подумала миссис Флеминг, пока варила кофе и пыталась понять Луи. Кофе вместо еды, которой, по-видимому, ни один из них не желал, она предложила для того, чтобы оба могли помолчать, пока она его варит.

Взятые по отдельности люди не представляли затруднения, если не полениться рассматривать их каждого отдельно. Что ее озадачивало, так это люди в связи один с другим. Что побудило ее дочь поставить себя в зависимость от этого молодого человека? Она пыталась найти ответ; но шуточки о деревенских девицах и скверные лимерики об абортмахерах... браки по расчету... предельно краткое блаженство невежества, обрывки разговоров, которые она вела поздно ночью с мужем, беспорядочно рассеивали мысли... ничто, казалось ей, не сравнится с бесполезностью опыта, когда он кажется неуместным... а ей требовалось сосредоточиться на единственной точке зрения – по примеру Пинеро или Элгара⁴.

Она с любопытством спросила:

– Какие слова вы рассчитываете услышать от меня?

– Если бы я знал, я не ждал бы здесь, потому что происходящее не казалось бы таким немислимо сложным. Я думал, что вы, вероятно, захотите подробнее расспросить меня. Может, просто пожелаете сказать, как скверно я повел себя по отношению к вашей дочери.

– Ваше предположение, что Дейдре вас не любит, кажется мне довольно-таки несправедливым.

– Возможно, так и есть. Возможно, на самом деле она любит меня.

Его готовность согласиться с ней слегка пошатнула моральную почву под ногами миссис Флеминг. Нравственность, мелькнуло у нее, подобна песку. Она сказала:

– Мне кажется, есть обстоятельство, о котором вам следует знать. По-видимому, этот ребенок – результат случая.

Прежде чем ответить, он осторожно поставил кофейную чашку обратно на блюдечко, и за краткий миг, пока он ставил ее, у миссис Флеминг успело упасть сердце.

– Уверен, так и есть, – сказал он.

⁴ Артур Пинеро (1855–1934) – один из первых английских драматургов, затронувших в своем творчестве серьезную социальную проблематику. Эдуард Элгар (1857–1934) – крупнейший английский композитор.

Впервые за все время он ей нравился.

– Пожалуй, мне будет лучше поговорить с Дейрдре.

– А-а.

Она так и не смогла определить, встревожился он или вздохнул с облегчением.

– Разумеется, она не знает о моей встрече с вами.

– Полагаю, она была бы решительно против, – сказала миссис Флеминг.

– Боюсь, да. Не могли бы вы выяснить, что случилось... Правда, я не знаю, рассказывает ли она вам... боюсь, что... – Его голос стал нерешительным и виноватым.

– Нет, она ничего мне не рассказывает, и выяснить, в чем дело, будет очень трудно. Я попробую, но, как вы понимаете, что-то предпринимать все равно придется. Не могу же я оставить все это без внимания только потому, что вы боитесь, как бы она не рассердилась на вас. Дейрдре всего девятнадцать.

– Я только хотел сказать, что, если мне предстоит жениться на ней, было бы лучше не начинать с обиды, нанесенной ее чувствам...

– Но вы *уже* завели со мной разговор у нее за спиной. Правильнее будет рассказать ей об этом самому. А я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить ее *не* выходить за вас.

Он изумился.

– Дорогой мой мистер Вейл, – мягко продолжала миссис Флеминг, – невозможно научить детей не совершать классические ошибки. Но приводить детей в этот мир по соображениям социального шантажа или компенсации морального ущерба ни в коем случае не следует – только если их хотят люди, которые их зачали. Это я знаю точно. Ни дети, ни родители никогда не оправятся от чувства вины за эту вынужденность. Вы в самом деле не хотите жениться на Дейрдре, следовательно, очень маловероятно, что с вами она будет счастлива. И вы, несомненно, не желаете этого ребенка. Я постараюсь как можно доходчивее разъяснить ей и то и другое.

Последовало недолгое молчание, потом он потушил сигарету и сказал:

– Ваша точка зрения необычна. Простите мне эти слова, но вы, похоже, непоколебимо убеждены в ней.

Она ответила:

– У меня есть на это две чрезвычайно веские причины.

И он впервые заметил, что она не смотрит на него.

Они расстались ко взаимному уважению и облегчению, с обещанием миссис Флеминг позвонить Луи после встречи с Дейрдре. («Аспирин социального взаимодействия» – так кто-то однажды назвал в разговоре с ней телефон.)

Она осталась одна в узком холле. Свежий воздух, попавший в дом, пока открывалась и закрывалась входная дверь, взвихрился вокруг нее и улегся, слабо позвякав подвесками маленькой люстры, дополнил вес и текстуру дома, стал не вполне прозрачным и не совершенно холодным: создал атмосферу с намеком на консоме в привычном молчании лондонского дома туманным днем.

В цокольном этаже Дороти, отпущенная после утренних дел, сидела в древнем плетеном кресле, изготовленном, видимо, из веток ежевики, потому что всякий раз, когда она садилась в него, у нее появлялись затяжки на чулках и кардиганах. Тем не менее она отказывалась сменить его на более удобное и время от времени уснащала подушками, набитыми опилками или изредка извергающими неправдоподобно экзотические перья. В этом кресле она сидела каждый день недели (кроме тех, когда ездила в Брикстон проведать сестру, страдающую ошибочными, но абсолютно неизлечимыми иллюзиями величия). Она сидела, курила одну за другой «Голд Флейк», радиоприемник непрерывно изрыгал развлечения и сведения; при этом она ковыряла какое-нибудь огромное бледно-розовое или лимонное вязание, которое после завершения работы таинственным образом исчезало и сменялось следующим (но никто никогда не

видел, чтобы она их носила). На стуле напротив нее восседал огромный кот типично дворового вида. Оба терпели радиоприемник с бесстрастным безразличием – взрывы фальшивого смеха, жуткие новости, невразумительные пьесы, слезливые песенки, шутки, оркестровые музыкальные заставки, опосредованное возбуждение комментаторов футбола или скачек, уютные душевные беседы о силосе, национальном здравоохранении или инкубаторах для птицеферм... ни единый мускул не вздрагивал на их лицах, ни толики сведений, которые они оба наверняка впитывали, не ускользало от них и, по-видимому, никак не влияло на их жизнь.

В четыре часа приемник будет выключен, Дороти заварит чай, а кот легко выпрыгнет через маленькое окошко с редкой решеткой.

Но в доме выше цокольного этажа царил глухая тишина, терпеливая и унылая. Миссис Флеминг сразу вернулась в гостиную. Письмо, которое она написала мужу, лежало на ее письменном столе рядом с ежедневником. Ежедневник напоминал о предстоящем чаепитии (этой отвратительно никчемной трапезе, единственное назначение которой – усиливать неудовлетворенность и без того неудовлетворенных женщин) с миссис Стокер на Глостер-Плейс. Ведь до свадьбы осталась всего неделя, а уладить предстояло еще очень многое. У нее есть почти два часа, чтобы приступить к масштабной и обескураживающей задаче с разбирательством.

Поднимаясь еще на два лестничных пролета до верхнего этажа, где спала Дейрдре, пока не перебралась в мьюзы, и где Джулиану предстояло провести еще шесть ночей, она с легким ощущением усталости размышляла о том, что, пожалуй, в этом доме всегда было слишком много ступенек...

4

Десять часов спустя миссис Флеминг сидела у себя в спальне и следила за окнами дочерней квартиры в мьюзах. Она сидела в темноте, если не считать маленького электрокамина, который распространял слабое тепло и ни согревал, ни освещал ее.

Полночь давно миновала; она рассталась с Дейрдре почти час назад, но свет в мьюзах еще горел, и миссис Флеминг дошла до такой степени усталости и тревоги, что считала своим долгом следить за светом, который в действительности не говорил ни о чем. Не важно, погасили бы его или он продолжал бы гореть, – она все равно не узнала бы, уснула Дейрдре, или плачет, или ушла, или предприняла попытку совершить какой-нибудь более отчаянный поступок. На последнее, повторила она себе еще раз, Дейрдре не решится. Несчастье Дейрдре обладало обостренной жизненностью: она была почти влюблена в него и не желала, чтобы оно закончилось. И не владела фактами, которые позволили бы ей счесть свое положение безнадежным. Поэтому следить за светом было напрасным трудом, но миссис Флеминг накинула на плечи жакет и наблюдала. Ужасный выдался день. Паника и боль затаились в глубине ее души в ожидании как раз таких моментов – чтобы застигнуть ее усталой и одинокой, свободной от чужих разрешимых трудностей. Ужасный выдался день, тоном утешения говорила она себе, и это почему-то успокаивало ее.

Ей вспомнилось, как в юности ее всегда наставляли думать о других, кому не так повезло, как ей; относительность любой невзгоды в ее семье с успехом применялась как отвлекающее средство. Она всегда противилась садистскому самодовольству этого принципа, но теперь, хоть она и остерегалась опасностей, присущих сравнениям, тем не менее была благодарна за то, что есть люди, заведомо нуждающиеся в том, чтобы о них думали.

После такого дня она могла поразмыслить о затруднениях, общих для матерей и дочерей: Джун и ее матери, ее и Дейрдре. Осознание мертвящей безысходности, подразумеваемой сценой между миссис Стокер и Джун за чаем – сценой, свидетельницей которой стала миссис Флеминг, – наполнило ее ужасом. Эти двое производили впечатление связанных друг с другом женщин, не объединенных ничем конкретным, но имеющих все общее: не будь они род-

ственницами, по своей воле они не провели бы в обществе друг друга и пяти минут, но из-за родственных связей между ними они целых девятнадцать лет раздражали, переиначивали, навязывались, принижали одна другую и при этом оставались взаимозависимыми. Сцена началась с того, что миссис Стокер с недовольной наигранностью объявила: ей известно, как Джун провела предыдущий день, и закончилась спустя несколько нескончаемых минут, когда пунцовая и чуть не плачущая Джун воскликнула, почему ей нельзя сходить в кино, если хочется, и вообще вести собственную жизнь, и покинула комнату. Отзываясь примирительными междометиями на извинения, оправдания и напористое возмущение миссис Стокер, миссис Флеминг пыталась обдумать свои отношения с Дейрдре, но обнаружила, что ее чувства к родной дочери настолько неопределенны и смутны, что с перепугу бросила свое занятие. Она была попросту несчастна, смущена и недовольна и очень боялась за Дейрдре. (И заодно втайне приняла решение больше никогда не являться на чаепития к миссис Стокер в ее бежевую и персиково-розовую квартиру.)

Теперь же, когда она увиделась с Дейрдре, они довели разговор до конца, ломали одну преграду подозрений и скрытности за другой и не обнаружили за ними ничего, кроме напрасно пролитых слез и стыда. Ибо полная неспособность Дейрдре оценить ситуацию в связи с кем-либо, кроме нее самой, наполнила миссис Флеминг унижительным стыдом, доходящим чуть ли не до отвращения. Оказалось, что она заботилась о своей дочери с осмотрительностью, доискивалась причин любить ее, подкрепляла их присущим ей стремлением оберегать. А это, как она прекрасно поняла, было не то, чего хотела Дейрдре. По-видимому, Дейрдре ожидала бурного родительского протеста, эмоционального и совершенно недоуменного, направленного против того, что она явно считала единственными смягчающими обстоятельствами ее романа. «Ты не понимаешь!» – кричала она вновь и вновь уже спустя долгое время после того, как она, если бы потрудилась задуматься, увидела бы, что миссис Флеминг поняла.

Луи, которого Дейрдре называла бездушным (миссис Флеминг подозревала, что отчасти в этом кроется его притягательность для нее), оценил характер и положение Дейрдре с удивительной точностью. Невозможно, устало думала миссис Флеминг, не винить в случившемся ее. Вот так хочешь детей, заводишь и растишь их, а потом, несмотря на все расчеты времени и заботы, они рушат все твои планы, выдавая результат, который выглядит, мягко говоря, почти математически неверным. Деморализовала ее именно позиция Дейрдре: это намеренное манипулирование обстоятельствами, за которым следовало полное подчинение им. Ей хотелось встряхнуть Дейрдре, выпалить какую-нибудь вдохновляющую банальность из тех, какими так часто вдохновляли ее саму в дни юности. Насколько ей помнилось, в какой-то момент она сказала что-то в этом роде: настоятельно умоляла Дейрдре собраться, подумать хоть немного о Луи и ребенке, вспомнить, что жизнь редко заканчивается в девятнадцать лет, а главное – держать себя в руках и *думать*. Дейрдре не сводила с нее обиженных заплаканных глаз, а потом вновь твердила, что, если Луи в самом деле решил не жениться на ней, если он даже не понял, насколько правильным был бы этот поступок, у нее все равно будет этот ребенок, потому что она никогда больше никого не полюбит, так хотя бы ребенок у нее останется, и ни с того ни с сего добавила, что есть много замечательных, но незаконнорожденных людей – если вдруг мама так переживает об этом...

Помимо отношения их обеих к незаконнорожденным, перебила миссис Флеминг, есть еще вопрос обеспечения и образования ребенка: внебрачным детям, по ее мнению, свойственно обходиться дороже, чем рожденным в браке, – если есть стремление надежно оградить их от той части общества, которая не в состоянии сделать различие между причиной и следствием. По-видимому, Дейрдре была глубоко потрясена.

– Ты выражаешься прямо как папа! Ты *уже* говорила с ним?

– Нет, конечно, – отозвалась миссис Флеминг и поймала себя на мысли о том, на протяжении скольких лет она говорила бы это «конечно». Но с этого момента, пожалуй, разговор

продолжался чуть легче, до тех пор пока миссис Флеминг после общих рассуждений о том, как глупо вступать в брак без обоюдной готовности, не допустила ошибку, упомянув, что Луи не то чтобы абсолютно не готов жениться на Дейдрре, если Дейдрре в самом деле не видит иного выхода. И опять началось: «Почему нет? Почему *нет?*» – и вновь полились слезы. Однако миссис Флеминг заметила, что позиция Дейдрре поколебалась, стала менее прочной, и начала воспринимать ее здраво – как очень юную, беременную и внушающую сочувствие девушку.

После некоторых утешений, однако, маятник Дейдрре качнулся в другую сторону; с вызывающим видом высморкавшись, она заявила: «Разумеется, я могла бы выйти за Майлса» и, когда ее мать недоуменно уставилась на нее, пытаясь вспомнить, кто такой этот самый Майлс, добавила:

– Да *знаешь* ты Майлса. Он давным-давно увивается вокруг меня с намерением жениться – он-то на все согласится, даже на ребенка Луи.

Миссис Флеминг резким тоном осведомилась:

– Ты уже сказала ему об этом?

– Нет, но скажу, само собой, если выйду за него. Все будет хорошо, наверное, лишь бы он после женитьбы не стал еще *зануднее*, вот только у меня ужасное предчувствие, что станет, и тогда я в буквальном смысле *умру* от скуки.

Понадобилось вновь в отчаянии давать советы; при этом миссис Флеминг чувствовала, что ими не воспользуются, но у нее мелькнула мысль, что ее дочь, возможно, просто решила шокировать ее во что бы то ни стало.

В завершение разговора Дейдрре пообещала тщательно обдумать все услышанное от матери. Миссис Флеминг приложила все старания, чтобы убедить дочь переночевать в родительском доме, но потерпела фиаско так мгновенно, что сочла благоразумным не настаивать. Она оставила Дейдрре с двумя таблетками снотворного и пачкой сигарет.

Вернувшись домой, она попыталась позвонить Луи, но не застала его на месте.

Нет, сказать Дейдрре она определенно не могла.

Это означало, что придется снова писать мужу. При мысли о новом письме к нему ее слабо затошнило, вспомнилась герцогиня де Прален⁵; но по крайней мере, размышляла она, достоинство *ее* писем обеспечено почтой...

5

Худшим было раннее утро: пугающие моменты полуяви, когда погоня за настоящим – пробуждение и его осознание – врывается в сон; когда одна половина разума жаждет забвения и окружающих его иллюзий, а другая половина сопротивляется и стремится ко всей полноте сознания до тех пор, пока вся эта мучительная ситуация не завладевает разумом и телом; настоящее вдруг ожило, а сон так же внезапно улетучился. Тогда-то она и обнаружила, что лежит в слезах, и ужаснулась, потому что не помнила, как заплакала. А потом оказалось, что она плачет, потому что заметила, что она в слезах...

Она лежала, глядя на полосы слабого солнечного света, безвольно упавшие на ковер, пыталась увидеть в них симметрию или дополнить до какого-нибудь рисунка: вдохновляла свой разум всеми мелкими подробностями комнаты, которые могла видеть и слышать, не поворачивая головы, как больная или узница. Обои с рисунком Морриса из зеленых листьев и светло-красных ягод, которые она выбрала много лет назад в решительном стремлении сделать хотя бы эту комнату безоговорочно принадлежащей ей (в то время ее муж говорил, что Уильям Моррис вызывает у него истерический хохот), доставляли явное удовольствие. Когда

⁵ Убийство герцогини Франсуазы де Шуазель-Прален (1807–1847), в котором подозревали ее мужа, послужило одним из катализаторов французской революции 1848 года.

она почувствует себя спокойнее и увереннее, можно рискнуть и посмотреть на часы или поискать носовой платок: удивительно, как малейшего движения, сделанного сразу после слез, хватает, чтобы вызвать их вновь.

Было семь часов, носовой платок нашелся.

В ванной, бессистемно размышляя о Дейрдре и Джулиане, она выяснила, что особая свойственная ей интроспективная честность поставила перед ней очередное препятствие. И задумалась, удалась бы Дейрдре и Джулиану попытка рассказать друг другу о своих чувствах к Луи и Джун, если бы они вообще предприняли ее, и пришла к выводу, что не удалась бы или они даже пробовать не стали бы, потому что их представления о людях и требования, предъявляемые к ним, разительно отличаются. Потом вдруг, пока она рассеянно вертела в голове мысль о том, что слово «любовь» подразумевает столько же оттенков значения, как и слово «свет», путь этой мысли преградил парализующий страх оттого, что первое слово не значило для нее ничего – абсолютно ничего. Какие чувства, к примеру, она испытывала к своему мужу, из-за которого она так несчастна? Любила ли она его? Или просто поддавалась страху и гордыне – что останется одна и другие увидят, что с ней стало? Она осознала, что ее учили различать четыре жизненных этапа. Раннюю юность запасает, чтобы тратить ее после двадцатилетия; середину жизни копишь, чтобы в старости жить на минимум набежавших процентов. В сущности, транжирить подобно бабочке юность, или красоту, или удовольствие позволительно в течение времени менее продолжительного в сравнении со всей жизнью, нежели бабочке с ее превращениями из яйца в гусеницу, а затем в куколку. Где-то здесь что-то было не так. Впрочем, она никогда не рассматривала брак или идеальный брак, а может, просто свой собственный брак сквозь призму сбережений или накоплений.

Одеваясь, она думала о том, что по прошествии двадцати трех лет едва ли могла бы рассчитывать, что мужа влечет к ней – даже если бы оставалась такой же желанной, какой, как она знала, была двадцать три года назад: было бы и впрямь удивительно, если бы после двадцати трех лет в ее разуме еще остались уголки, которые он если не освоил полностью, то проигнорировал, поскольку не одобрил их; о том, что ее достижения в то время носили сумеречный характер и, следовательно, были незаметны – не было ни внезапной вспышки, ни солнечного сияния успеха в ее способности вести хозяйство в двух домах и растить двоих детей, прихорашиваться и украшать все, что ее окружало; о том, что пронизательное замечание мистера Кэррола о том, что надо бежать очень быстро, чтобы оставаться на одном и том же месте, применимо в том числе и к браку, но и это достижение, естественно, ни к чему не приводит; и о том, что, следовательно, бесполезно ожидать, что все тот же мужчина в будущем проведет хотя бы еще день в ее стареющем и давно знакомом обществе.

Она позавтракала и проводила Джулиана. Пришла открытка от Лейлы Толбэт, которую, по ее словам, она написала давным-давно и все забывала отправить, – Лейла звала ее этим вечером на коктейль. Миссис Флеминг отметила, что пригласили ее одну, и задумалась, давно ли продолжается такое и известно ли Лейле, что отныне именно так надлежит приглашать ее в гости. Шторы на окнах квартиры Дейрдре были все еще задернуты. Дороти злилась из-за чешуйниц, преспокойно извивающихся по всему цокольному этажу. Эти своеобразные существа появлялись откуда ни возьмись через неопределенные промежутки времени, приводя в бешенство Дороти и радуя ее кота, десятками убивавшего их с бесстрастным рвением, в котором ощущалось нечто восточное.

Миссис Флеминг договорилась насчет умерщвления чешуйниц и направилась на самый верхний этаж дома, которым владели Джулиан и Дейрдре. На протяжении двух часов она разбирала залежи детских, школьных и подростковых вещей дочери. Обнаружились, в частности, такие предметы, как одноглазое и бесформенное существо по имени Стрикленд (ей вспомнилось, как Дейрдре загорелось самой сменить имя на Стрикленд); альбом, половину листов в котором занимали засушенные полевые цветы; баночки с зеленой пылью (наследие тех дней,

когда Дейрдре азартно делала крем для лица из яичных белков и продавала его доверчивым и прыщавым школьным знакомым); письмо от довольно-таки противного мальчишки, который жил по другую сторону сквера, – в письме говорилось, что он уже собрал достаточно бечевки, чтобы привязать ее к какому-нибудь дереву в Кенсингтонских садах; футляр для расчески и щетки для волос с вышитыми красным и зеленым инициалами миссис Флеминг – незаконченными, с торчащей в ткани ржавой иглой; четыре дневника – к счастью, недописанных (она прочла лишь первые фразы из каждого: «Элизабет Томкинсон всегда будет моей самой лучшей и ближайшей подругой», «Боюсь, я гораздо впечатлительнее всех людей, кого я знаю»), и так далее. Миссис Флеминг выбросила их. Были еще бесчисленные коробки с одеждой, недовязанными кофточками, недонизанными бусами, футлярчиками из-под губной помады и театральными программками. Их, считала она, Дейрдре должна разобрать сама. Почти все содержимое коробок было либо частично сломано, либо незакончено. Когда она добралась до джимханово-балетного⁶ периода в жизни Дейрдре, внезапно явилась Дороти с чашкой теплого бурого чая – знаком прощения и заботы, и миссис Флеминг поняла, что обязана выпить его до дна. Дороти считала, что людям *должно* хотеться чаю, а если они отказываются, значит, не понимают своего счастья, и стало быть, им так худо, что чай нужен им, как никогда. И теперь она стояла над миссис Флеминг, повторяя все, что уже говорила ей насчет чешуйниц, чтобы показать – она больше не сердится, но чешуйницы были важной причиной для негодования два часа назад. Кот Дороти, неизменно сопровождавший ее якобы из-за привязанности, но на самом деле, как думала миссис Флеминг, с подсознательным желанием подставить ей подножку, уютно устроился вздремнуть в шляпной картонке поверх Джона Гилгуда и каких-то щипцов для завивки.

– Я оставлю вам моего мальчика, – сказала Дороти, делая вид, будто обладает хоть какой-то властью над ним, и удалилась.

Миссис Флеминг медленно пила чай, давая возможность другой стороне ее разума развить сложную (и, как она втайне считала, более убедительную) точку зрения. Почему кто-то должен выбрать тебя либо в расцвете лет, либо, хуже того, еще до достижения этого расцвета, кроить по шаблону, долгие годы сковывать и ограничивать тебя до тех пор, пока ты не принесешь в жертву свои изначальные представления и не станешь наполняться равнодушием, если в конечном итоге ты все равно окажешься ошибкой и останешься в одиночестве? Было слишком поздно оплакивать намерения, которые у нее тайно имелись когда-то в отношении самой себя, – ее любили, касались, приспособливали, подавляли, ограждали и игнорировали до тех пор, пока даже радость, которую ей доставляли обои, презираемые мужем, не приобрела характерную окраску только потому, что он их презирал. Даже те немногие случаи, когда она считала, что отстояла свои права, являлись прямым следствием ее связи с ним. Трудоемкость взаимоотношений вдруг ужаснула ее: казалось, в свои сорок три года она не в состоянии в равной мере нести за них ответственность. Это фатально, думала она, – взроснуть рядом с кем-то: приходится оставаться молодой для них или начнешь стареть. Я не была взрослой, когда вышла замуж, я была лишь немногим старше Дейрдре – не такой, как она, но лишь немногим старше. Сейчас я бы со всем справилась, если бы только могла начать с самого начала: трудность в том, что это финал ситуации, за которую я так неудачно взялась.

Дороти укоризненным тоном сообщила, что звонит мисс Джун. Миссис Флеминг, которая слышала звонок, извинилась, сказав, что не слышала, и спустилась поговорить с будущей невесткой.

Несмотря на то что Джун посвящала телефону немалую часть своей жизни, она пользовалась им как инструментом для общения скорее с общими, нежели с конкретными целями. И эта ее привычка была одной из самых утомительных для тех, кто недолюбливал телефоны: миссис Флеминг, ранее не сталкивавшаяся с ней, теперь была ввергнута в поток бессвязной болтовни

⁶ Джимхана – конный спорт, состоящий из гонок и игр на время.

– извинений за еще не написанное благодарственное письмо после вчерашнего ужина, предположений насчет предстоящей свадьбы и даже краткого отчета о язвочках в ушах у Ангуса. Из всего услышанного миссис Флеминг выловила известие о том, что сегодня днем Джун намерена побывать в новой квартире, где требуется принять окончательные решения касательно отделки, что Джулиан не может или не горит желанием сопровождать ее, что по поводу розовой или кремовой краски они так и не пришли к единому мнению и что в любом случае Джун кажется, что она не в состоянии одна выбрать или розовый цвет, или кремовый. И поскольку миссис Флеминг еще не видела эту квартиру, Джун подумала, что она, возможно, не занята днем, захочет взглянуть и дать ей совет. Будет ужасно, если она, Джун, сама пойдет и выберет не тот розовый или кремовый оттенок. Миссис Флеминг приняла на себя эту гнетущую эстетическую ответственность, размышляя, сколько лет назад она с жаром убеждала бы Джун смелее пользоваться цветом и радоваться ему.

Во время второго завтрака позвонила какая-то женщина – в слезах, с венским акцентом – и спросила мистера Флеминга. Услышав, что его нет дома, она разразилась каким-то трагическим немецким восклицанием, осеклась и повесила трубку.

На встречу в новой квартире миссис Флеминг прибыла раньше Джун.

На четвертый этаж можно было подняться в лифте, напоминающем дупло в зубе и создающем атмосферу душного дискомфорта, которая, как ей казалось, станет нестерпимой, если она прикоснется к нему. И она поднялась по лестнице, потом позвонила в дверь и, стоя на сквозняке в полутьме оттенка рвоты, мысленно добавила непунктуальность к списку того, что ей известно о Джун.

Явилась запыхавшаяся Джун – в розовом шерстяном платье и цигейковом жакете, коротковатом ей. Роясь в сумке в поисках ключа, она извинялась и оправдывалась сбивчиво и смущенно. Она смутно рассчитывала успокоить миссис Флеминг и польстить ей этой затеей с осмотром квартиры, но планы расстроились: ей не удалось, как выразилась бы ее мать, «завоевать доверие миссис Флеминг», или ее одобрение, или что-нибудь в этом роде. Ее мать вечно твердила: «Ох, Джун, да не будь же ты настолько *глупой!*» – и вот теперь, когда она меньше всего этого хотела, она и впрямь вела себя чрезвычайно глупо – ну наконец-то ключ, *хвала небесам*, – но к тому времени она так разнервничалась, что не смогла повернуть его в замке.

Миссис Флеминг, помня о сцене во время чаепития с миссис Стокер и терзаясь угрызениями совести за выводы, сделанные до прибытия Джун, сама отперла дверь, и они вошли в квартиру.

Она была тесной, она была унылой, она была неожиданно темной. Три ее комнаты спроектировали так, что любая хоть сколько-нибудь пригодная для использования мебель неизбежно загромождала бы их или смехотворно искажала их пропорции. Пожалуй, думала миссис Флеминг, здесь был бы обеспечен сносный комфорт людям ростом не выше четырех футов. Однако она утруждала себя поиском достоинств квартиры ради Джун, которая, в свою очередь, указывала на все недостатки, какие только могла вообразить: они были и разнообразны, и неожиданны – тем, что остались незамеченными для миссис Флеминг, игла вкуса которой застряла в канве практических соображений Джун. Обе они так старались проявить любезность.

Тщательно осмотрев грязные и почти пустые комнаты, они нерешительно пристроились на строительных козлах, оставленных малярами в спальне, и Джун достала разноцветные образцы клеевой и прочей краски. Они начинались с оттенков, которыегодились бы для нитей пастельных деревянных бус, озадачивающих такое множество младенцев, продолжались гаммой равнодушно-бодрых, наводящих на мысли о сладостях из мелких деревьев, и заканчивались монументально-тусклыми – грандиозным оливковым, болотным, влажно-шоколадным, с которыми приходится мириться в таком обилии учреждений. Выбор, как сказала Джун, слишком уж велик – хотя, честно говоря, вряд ли кто-то способен *жить* в окружении стольких

оттенков. Миссис Флеминг предложила посмешивать цвета и подобрать наиболее подходящий, но Джун, явно напуганная этой мыслью, ответила, что времени на это нет: мастера должны приступить к покраске завтра же утром, чтобы отделку успели закончить к их возвращению из Парижа.

В последовавшем молчании Джун перебирала неприятные своей возможностью розовые образцы, и миссис Флеминг заметила, что у нее красивые ногти. Наконец, когда паузу так и не прервал сделанный выбор, миссис Флеминг убедилась, что порыв, благодаря которому она сочла ногти Джун красивыми, угас, и похвалила их вслух.

Джун густо покраснела и уронила картонку с образцами на пол.

– Ой, на самом деле вовсе нет. В смысле, Джулиан их даже не замечает.

– А я уверена, что замечает. – Миссис Флеминг выяснила, что ногти могли иметь символическое значение и что Джун внезапно пришла в голову мысль о том, что Джулиан не замечает их красоту, а эта мысль потянула за собой череду других подобных упущений. Своим замечанием она хотела подбодрить собеседницу, но сразу же пришла в замешательство.

Джун спустилась с козел, чтобы подобрать картонку, отлетевшую в сторону по грязному паркету. И теперь вдруг съезжилась на корточках, завертела картонку в руках, не глядя на миссис Флеминг.

– Иногда мне кажется, – заговорила она, пытаясь придать убедительность внезапной панике видимостью привычки, – только иногда, не всегда, конечно, что ему следовало бы замечать такие вещи – ну, то, что он считает... – картонка упала ей на колени. – В смысле, люди же *всегда* замечают в других что-нибудь плохое, правильно? Даже если ничего не *говорят*, замечают-то они всё. И если, когда люди женятся, они не замечают ничего хорошего – то есть даже в самом начале, – тогда они просто к этому привыкают и замечают уже только плохое. Вот это и беспокоит меня довольно давно, – нерешительно закончила она, только что обнаружив причину своей тревоги.

Крайне осторожно пробуя почву, миссис Флеминг отозвалась:

– Люди очень редко говорят обо всем, что чувствуют.

– Но как же тогда узнать, чувствуют ли они хоть что-нибудь?

– Джулиан хочет жениться на тебе. Это ты знаешь.

– Я не верю, что он в самом деле хочет! Не верю, что он вообще *хочет меня!* На моем месте мог быть кто угодно и на его месте тоже. Это же... ужас! – Слез в ее глазах было столько, что казалось удивительным, как они до сих пор не пролились.

Миссис Флеминг, которая не смела пошевелиться, чтобы по неосторожности не выбить Джун из колеи окончательно, сидела молча.

– Люди не... я думала, когда двое женятся, они безумно счастливы. Как будто открыли нечто... ну, знаете, чудесное, и я думала, что в этом вся суть: как самый конец книг, не просто что-нибудь очередное, что делаешь в жизни, вот только с Джулианом, по-моему, это не так.

– Ваш брак еще даже не начался: это худшее, что только...

Но Джун вдруг обернулась к ней, как существо, которое побуждают защищаться все его инстинкты; это изможденное и затравленное лицо разом пресекло все громкие фразы, какими пользуется зрелость, пристыдило миссис Флеминг и помешало ей продолжать в том же духе.

– Я несколько не умна и не интересна. Я не красива и даже не особенно симпатична. Все это я вижу совершенно ясно. И не понимаю, зачем ему хотеть жениться на мне. – Она обнаружила, что ей трудно говорить: медленный и мучительный румянец расплзался, казалось, по всему ее телу, и она впервые в жизни видела все больше и больше самой себя. – Но, если он *правда* хочет на мне жениться, должна же у него быть хотя бы одна конкретная причина? А если я не кажусь ему особенной ни в каком отношении, я навсегда такой и останусь, ведь так? И никто не найдет во мне ничего особенного, потому что его там не будет. Он... он как будто ничего не *ждет*... и мама говорит, что я скучная, так что я боюсь... боюсь, – повторила она,

и слеза капнула на картонку с образцами краски. Слезы она с неожиданной самоуверенностью оставила без внимания.

Распознав откровенность, миссис Флеминг нашла прибежище в любопытстве.

– А ты объясняла Джулиану, почему хочешь выйти за него?

– Я? – Кажется, она действительно удивилась. – Я... я думала, что могла бы... ну, готовить и все такое. Заботиться о нем, ну, вы понимаете. Речь не о какой-то части, не о той части нашей жизни, которую мы ведем порознь. Речь о... жизни вместе, не его работе или этой квартире, а о том, как мы *живем*. Я не имею в виду постель, конечно, – поспешно добавила она, и миссис Флеминг поняла, что это правда – что эта сторона выглядела так, будто образуется сама собой, такая загадочная и далекая, настолько непредсказуемая, что для Джун она не имела смысла.

Что тут было ответить? Что они подобны двум людям на необитаемом острове, понимающим, что пища им необходима, и, следовательно, готовым поедать ягоды, в равной степени способные поддержать их силы или отравить? Но они не на необитаемом острове. Миссис Флеминг думала, что Джун, пожалуй, трогательная и жалкая разновидность принцессы, вынужденной спать, пока кто-нибудь не соизволит найти ее, а потом разбудить поцелуем. Но достоинство принцессы охранял заколдованный лес с колючими кустами, а у Джун такой охраны не было: глупая мать не предусмотрела для нее ничего, кроме брака, и, следовательно, оставила ее без какой-либо цели или интереса в бесплодной пустоши, где к ней мог приблизиться кто угодно и где она не была достижением, потому что могла достаться даже самому равнодушному. Но настолько ли равнодушен Джулиан? Неужели я была такой бестолковой матерью, что любой дом показался бы предпочтительнее моего? Однако Джулиан был волен жить, где выберет сам, и явно выбрал Джун. Это сумасбродство, каким оно ей сейчас представлялось, похоже, не было облагорожено ни единой искрой романтики, влечения или лихости и казалось не чем иным, по словам Джун, как просто очередным делом, которым эти двое занялись в жизни. За этим поступком, по всей видимости, не крылось никаких причин, впереди – никаких намерений, они просто дрейфовали в вакууме социальных связей настолько близко один к другому, насколько позволял этот вакуум, с теми последствиями, которых предположительно ожидало от них общество.

Глядя на Джун (та хмурилась в попытках сдержать слезы, которые, казалось, теперь составляли саму структуру ее лица), миссис Флеминг гадала, чего, скажите на милость, ждут от кого-либо из них. Принципиальная никчемность ситуации озадачивала ее, но близость к Джулиану, а теперь и к Джун удерживала ее от объективной критики. Воистину, «что за мастерское создание – человек»⁷ – но невозможно критиковать ни одно мастерское создание, которому не симпатизируешь, а в данном случае все, что ей оставалось, – осуждать их брак, не предлагая ничего взамен, по крайней мере не предлагая Джун. Однако делать было нечего, и она очень нерешительно предположила, что ввиду неуверенности Джун в чувствах Джулиана и даже, рискнула добавить миссис Флеминг, чувств самой Джун ко всему происходящему, было бы, пожалуй, разумно отложить свадьбу до... Но тут выражение лица Джун помешало ей высказаться: вид у нее был таким, словно кто-то попытался отнять у нее игрушку, которой она ужасно боялась.

– О нет! – воскликнула она, и потом: – Все ведь *условлено!* Я совсем не то хотела... – Она поднялась и направилась к окну.

– Вы наверняка считаете меня страшно глупой, – спустя минуту сказала она, и у миссис Флеминг упало сердце.

– Нет, я так не считаю,нисколько.

– Наговорила таких ужасных вещей. Ведь вы же мать Джулиана.

⁷ «Гамлет», акт II, сцена 2-я (пер. М. Лозинского).

Как будто миссис Флеминг умышленно скрывала этот факт.

Некоторое время миссис Флеминг раздумывала, не ответить ли, что да, в самом деле, и поэтому ее тревоги оправданны, но, прежде чем успела мысленно сформулировать эту фразу, поняла, как опасно высказываться в таком ключе. Брак все равно будет заключен, а Джун просто придет к убеждению, что ее свекровь настроена против него. Миссис Флеминг могла бы поговорить с Джулианом – перспектива, наполнившая ее усталой тревогой, поскольку подобных попыток она не предпринимала с вечера накануне его поступления в частную подготовительную школу, – но здесь и сейчас ей поневоле пришлось вернуться к громким фразам. Она поднялась.

– Ничего страшного, – произнесла она. – Всех утомляет помолвка. Помню, у меня было такое же чувство.

Джун с сомнением взглянула на нее, но миссис Флеминг сохраняла на лице выражение благожелательной непроницаемости, низводившее недавние откровения Джун к слегка (однако по вполне понятным причинам) разыгравшимся нервам.

Оставалось только выбрать – розовый или кремовый. Джун, которая явно утвердилась в своем мнении, предпочла кремовую гостиную и розовую спальню. «Это компромисс!» – воскликнула она, будто представляя миссис Флеминг своеобразное достижение.

Для свекрови она проявляет удивительное понимание, думала Джун, с облегчением вздохнув в такси. Ей стало *гораздо* лучше: да уж, как будто миновала гроза, или она сдала школьный экзамен, или расставила цветы в вазах, а кто-то спросил, не мама ли это сделала (у мамы получались абсолютно *дивные* букеты).

Миссис Флеминг, успешно уклонившись от поездки на такси вместе с Джун, вернулась на Кэмпден-Хилл-сквер, с ужасом и отвращением продолжая мысленно твердить: «У меня таких чувств *не* возникало. Я *никогда* так не считала. Не считала: *нет*, не считала».

6

Насколько могла судить миссис Флеминг, вечеринки с коктейлями у Лейлы Толбэт имели одно отличие от всех прочих. За считанными исключениями их посещали люди, которые никогда прежде не встречались в ее доме и которые, как показывал опыт, больше никогда не встретятся. Миссис Флеминг, посещавшая приемы на Пелэм-Кресент без малого двадцать лет, к этому времени перебрала всю гамму догадок: полагала, что Лейла устраивает вечеринки ежедневно, и гадала, как она ухитряется заводить столько друзей; однажды, перед тем как она свалилась с сильным гриппом, ее посетило патологическое предположение, что на самом деле это все те же люди, которых она не в состоянии узнать или вспомнить; она обдумывала статистические данные по гостям, заявляющимся на коктейли незваными, – но во всех этих размышлениях и многих других, слишком досужих, чтобы учитывать их, ни разу так и не пришла к хоть сколько-нибудь удовлетворительным выводам. Что особенно интриговало ее, так это загадочная степень близости с хозяйкой, совершенно одинаковая, казалось, для всех гостей, прибывающих непрерывным потоком: невозможно было определить, знают они друг друга двадцать лет или познакомились не далее как на прошлой неделе. Порой миссис Флеминг думалось, что гости прекрасно знали Лейлу двадцать лет *назад* – возможно, в детстве играли вместе, но потом она сообразила, что даже Лейле было бы не под силу сначала играть с таким множеством настолько разных людей (имеющих мало общего, если не считать знакомства с хозяйкой), а затем снова собрать их у себя. В отдельных случаях можно было заметить конкретные профессиональные или культурные подтексты; например, появление на вечеринках врачей, когда Лейла была социальным работником в больнице и много играла в гольф, или архитекторов, когда после смерти мужа она чуть не построила дом на острове Уайт (чтобы, по замечанию мистера Флеминга, благопристойнее скрывать, что не скорбит). Как правило, находился

мужчина, удовлетворенная обособленность которого от остальных и безликость в сочетании с явной осведомленностью о содержимом бара выдавали в нем заинтересованным и наблюдательным гостям очередного любовника Лейлы. Сама Лейла неизменно называла каждого такого мужчину «дорогой», кем бы он ни был, и никогда ни с кем его не знакомила. Он перемещался по комнате, окутанный флером анонимности, всегда знал, где находится что угодно – от ангустуры до уборной, и редко бывал одним и тем же мужчиной на разных вечеринках, что озадачивало наблюдателей – впрочем, они могли утешаться, вслух обсуждая тот факт, что на одной и той же вечеринке Лейла никогда не называла двух разных людей «дорогими».

Когда миссис Флеминг прибыла, собрался уже с десяток гостей, из которых она знала только одну, поскольку та неопределенно маячила на фоне жизни Лейлы, – яркую, тонкую и жилистую женщину, иссушенную загаром и похожую с ее сухими обесцвеченными волосами на постаревшую четырнадцатилетнюю девочку, хотя она сама как-то рассказала миссис Флеминг, что у нее было двое мужей и четверо детей.

Профессиональным подтекстом данной вечеринки казалось администрирование того или иного рода в области культуры: гостей представляли друг другу как мистера Гордиона, художника, который сейчас занят организацией выставки «Морские раковины Британии» в рамках фестиваля⁸, или же как мистера Уайта, который в войну возглавлял печатные органы Министерств благосостояния и социального обеспечения, после войны был секретарем Ассоциации по предотвращению внутренней тревожности, а теперь на него возложена деликатная задача разработки тонны пластмассовых тропических рыбок, которых предстоит сбрасывать с самолетов в искусственные озера общественных парков на церемонии открытия фестиваля.

Миссис Флеминг, познакомившись с четверьмя гостями, увлеченно обсуждающими эти и прочие виды деятельности, отказавшись от трех сигарет и приняв бокал «Тюо Пепе» от желтовато-бледного невысокого мужчины, анонимности которого, если уж на то пошло, способствовала мягкая рыжеватая бородка, очутилась сидящей в пухлом кресле, на одном подлокотнике которого пристроилась жилистая подруга Лейлы.

– Но я же целую вечность *не ездила* на велосипеде! – восклицала она, забрасывая одну худую миниатюрную ножку на другую и пылко уставившись в лицо корпулентному мужчине в галстук-бабочке и полосатых брюках, который хохотнул каким-то развратным баритоном и отозвался:

– Обязательно попробуйте, дорогая моя Эсме, обязательно.

Гости продолжали прибывать, Лейла пресекла решительную попытку рыжеватой бородки предложить миссис Флеминг четвертую сигарету:

– Она не курит, дорогой. Проверь, все ли американские орехи удалось открыть няне.

Какой-то человек, стоящий в одиночестве у камина, резким жестом бросил в огонь наполовину выкуренную сигарету. Этот жест привлек внимание миссис Флеминг, внезапно напомнив ей Дейрдре после ужина два дня назад. Вот оно, вдруг поняла она, – начало всех последующих открытий: первый признак стресса Дейрдре, который даже тогда почти ничего не значил. А теперь сигарета, выброшенная недокуренной, наполнилась для нее личным смыслом, и это означает, подумала она, что в комнате, где собрались примерно пятнадцать человек, личный смысл содержится в таких количествах, что способен свести Провидение с ума...

Лейла прервала ход ее мыслей, подведя только что прибывшую молодую пару по фамилии Фенвик.

– Они как раз подыскивают дом и в восторге от Кэмпден-Хилла.

Миссис Флеминг и опомниться не успела, как пустилась в дискуссию о домах в этом районе. Фенвики недавно поженились и часто упоминали об этом. Казалось, только в этом они были уверены, поскольку явно ощущаемая ими необходимость заменять «мы» на «я» вгоняла

⁸ «Фестиваль Британии» – ряд национальных выставок, прошедших летом 1951 года по всей Великобритании.

обоих в такую робость, нерешительность и неловкость, что их планы и требования сводились к вечным компромиссам. Миссис Флеминг вежливо перебрасывалась с ними репликами, считая, что им было бы гораздо лучше одним вместе или одним порознь, пока они не научатся быть вместе в присутствии других людей; самой себе она все больше казалась социальным работником, пока появление двенадцатилетней дочери Лейлы не стало милосердным избавлением.

Всякий раз убеждаясь в том, насколько непривлекательна Морин, миссис Флеминг только диву давалась: девочка выглядела как свинка, разряженная в платье из магазина модной детской одежды, но ее репертуар непривлекательности был значительно обширнее, чем у любой свиньи. Она стояла перед миссис Флеминг, враждебная и с выпяченным животом.

– Какие противные сережки, – заявила она, – прямо как птичьи какашки... дай мне вот этого.

Миссис Флеминг удостоила ее своим знаменитым стеклянным взглядом, который приберегала для омерзительных детей, и не ответила, но молодой мистер Фенвик со слабой улыбкой сказал:

– Это вредно маленьким девочкам.

– Да ладно, дай немножко. А то опьянеешь, если выпьешь все сама. Или оливку дай.

Мистер Фенвик отдал ей оливку, желая показать жене, как хорошо он умеет ладить с детьми. Морин выплюнула косточку в его бокал.

– Как будто у тебя в бокале крысиная какашка. Ты что, не заметил, что у тебя крысиная какашка в бокале плавает?

Довольная своей выходкой, она продолжила обход комнаты, кланча у гостей оливки и вытворяя с ними все то же самое. Фенвики переглянулись со сдержанными улыбками и пробормотали что-то про трудный возраст.

– Абсурд! – неожиданно для самой себя произнесла миссис Флеминг так отчетливо, перекрывая гул разговоров, что в смущении отвернулась от Фенвиков и встретила взглядом с человеком, стоящим у камина. Некоторое время он смотрел на нее с пытливым интересом: ей показалось, что он услышал ее возглас и ощутил неопределенное желание узнать, что она сочла откровенно абсурдным, но потом кто-то сдвинулся с места и заслонил его.

Фенвики отошли; вокруг нее продолжались культурно-административные разговоры, и она чувствовала себя изолированной среди этого шума.

– Красота этого замысла в целом – в том, что его можно осуществить *полностью* в бумаге.

В ответ одобрительно загудели.

– Разумеется, с некоторой толикой пластмассы.

– Конечно.

– Конечно, возникли неувязки со страховщиками, но я сказал Брейтуэйту – знаете Брейтуэйта?

– Мы делали все эти плакаты по гигиене вместе.

– Ну *конечно*, знаете... так вот, я сказал Брейтуэйту: «Дружище, распределение по отделам – это работа *вашего* отдела. Не моего». В смысле отдела. То есть нельзя же вечно связывать кого-то по рукам и ногам в таких вопросах, как выбор материалов, только потому, что другой отдел не в состоянии передать полномочия. А *для чего* тогда Брейтуэйт? Ну, то есть все мы знаем, что он славный малый, увлеченный, добросовестный и так далее, но он же ничего *не* делегирует. Не знаю, заметили ли вы это по работе с гигиеной. Он старается все сделать сам. И всех выводит из себя – в конце концов, ему и не *полагается* что-либо *знать*.

– Боже правый, нет!

Оба снисходительно улыбнулись, а рыжеватая бородка подлил им в бокалы.

– В этом и состоит обаяние больших городов. Там гуляют туда-сюда всю ночь, в буквальном смысле всю, под окнами, так что глаз не сомкнешь. В постель *вообще* не ложатся.

– Моя *дорогая* Эсме!

Она оживленно засмеялась, вставляя сигарету в мундштук.

– Обожаю Испанию. Каждый ее дюйм.

Миссис Флеминг приняла второй бокал хереса. Вокруг не было никого, с кем ей хотелось бы поговорить: наоборот, в комнате оказалось больше, чем обычно, людей, с которыми она предпочла бы не знакомиться, но едва ли можно было и дальше сидеть в самом уютном кресле и пить в молчании, которое Лейла наверняка заметит и нарушит так некстати. Пожалуй, стоит вернуться домой и поговорить с Джулианом. Она посмотрела на свой херес. В этот момент раздался громкий стук, звон разбитого стекла и вопль Морин. Все обернулись в сторону камина. Двое гостей поднимали с пола Морин, которая выла и кричала: «Он мне подножку подставил. Скотина! Ты мне подножку подставил!»

Лейла сразу же увела ее с разбитым кровоточающим носом. В комнате словно посветлело, и миссис Флеминг увидела, как незнакомец, с которым встретила взглядом, собирает осколки бокала с ковра, складывая их, кажется, на «Радио таймс». Только тогда она узнала его: это он бросил сигарету в камин. Закончив собирать осколки, он провел ладонью по ковру и медленно поднялся. Он был высок ростом и необычайно худ. Взяв пачку сигарет с каминной полки, он направился к миссис Флеминг.

– Вы курите?

– Нет, благодарю.

– Пьете?

– Я не курю, потому что пью. – Она указала на свой бокал.

– Мне надо присесть. – Он огляделся в поисках свободного стула, но такового не нашлось.

Он взял тарелку с орехами и вазу с цветами со столика, отдал орехи ей, а цветы поставил на каминную полку. Потом отошел и вернулся с бокалом в руке.

– Вот и я тоже. Но вы, видимо, не любите орехи. Поставить их на пол?

– Ваши таланты в этой области на удивление полезны.

На это он устало улыбнулся и сказал:

– О да. Я никогда ничего не проливаю, я только ставлю подножки и избавляюсь от чего-нибудь.

Между ними воцарилось дружеское молчание. Потом он произнес:

– Спиртное не очень-то ограждает.

Она заметила, что он пьет бренди.

– А вы хотите отгородиться?

Пальцы его руки, протянутой по подлокотнику ее кресла, сжались, и он ответил:

– Вообще-то да, временами. Каждому порой хочется отгородиться.

– От чего?

– Да хотя бы, полагаю, от «тысячи природных мук»⁹, – он окончательно уклонился от ответа, решил не развивать эту тему. И улыбнулся.

Кисти у него были огромные, но не мужские, с длинными костлявыми пальцами, не красивой и не уродливой формы, но заметные, потому что при их величине выглядели соразмерными.

Кто-то расхваливал новую книгу Эрнеста Хемингуэя, кто-то критиковал ее. С минуту они слушали, потом миссис Флеминг сказала:

– Мне рассказывали, что он писал очередную книгу, но в разгар работы узнал, что жить ему осталось недолго, поэтому бросил первую книгу и написал вторую, а затем ему сказали, что он не умрет.

Он вдруг вскинул голову, и она увидела, что он удивлен и рассержен.

– Откуда вы знаете?

⁹ «Гамлет», акт III, сцена 1-я (пер. М. Лозинского).

– А я и не знаю. Я даже припомнить не могу, от кого это услышала. И не рассчитываю, что это правда.

– Так или иначе его душевное – или физическое – состояние не имеет никакого отношения к ценности, присущей произведению. Книга либо хороша, либо плоха. Не важно, умирал он, пока писал ее, или считал, что умирает, – в дальнейшем это с книгой никак не связано.

Миссис Флеминг мягко отозвалась:

– Если бы это была правда, тогда наверняка она имела бы непосредственное отношение к книге, пока он писал ее. – Она никак не могла понять, что в ее словах так встревожило его. – В любом случае я ее не читала. А вы пишете книги?

– Нет. Написал одну давным-давно – справочник, битком набитый никому не нужными сведениями, и такой тяжелый, что студенту-среднячку вряд ли захочется тащить его домой из библиотеки. Книги такого рода распродают оптом. Даже в то время она стоила двадцать пять шиллингов и была до ужаса нудной. А до того, как я ее написал, я часто гадал, кто пишет такое. – У него была привычка заканчивать свои реплики улыбкой: весьма устало освещая черты его лица, она указывала, что он договорил.

– О чем была ваша книга?

Пару секунд он мрачно созерцал ее.

– Нет, если я скажу, то впечатление будет испорчено. Вы не пишете книг? – Он, в сущности, не спрашивал, а был уверен, что не пишет.

– Нет. Я ничем не занимаюсь. Моя жизнь – довольно-таки опосредованная деятельность.

Опять она увидела, как он смотрит на нее в шоке интереса или пытливости (что это – страстное любопытство, неодобрение, согласие с замечанием, которое на этот раз вышло грубоватым?). Во всяком случае, эти внезапные паузы с перенесением всей тяжести внимания его разума на нее немного нервировали ее, и, когда она молча отвела взгляд, он заговорил:

– Мне совершенно ясно, что орехи вы не любите. – Он убрал их. – Вы предпочли бы ужин?

– Благодарю, но я уже ужинаю. Вы не знаете, который теперь час?

– Я больше не ношу часы, но я выясню.

До того как он вернулся, подошла Лейла со словами:

– Обед, мы просто обязаны устроить обед, но, видимо, теперь уже после свадьбы. Невероятно милая девушка – такой *благоразумный* шаг со стороны Джулиана. Ты наверняка вздохнула с облегчением. С Эразмусом Уайтом познакомилась? Я как раз собиралась представить тебя... он вон там, не слушает Перси. Без двадцати пяти восемь, дорогая. Не стану тебя задерживать – я *так* понимаю твоё отношение к пунктуальности.

Так что когда он вернулся, время она уже знала.

Она сообщила ему, что ей пора, и на миг пожалела о том, что ей надо уходить. Они пожали друг другу руки, и он сказал с невозмутимостью, от которой его слова прозвучали еще поразительнее:

– Конечно, никакого спиртного не хватило бы, чтобы отгородить кого-либо из нас, ведь мы в настоящем.

Она уставилась на него, желая рассмеяться или возненавидеть его, но не сделала ни того ни другого, а просто сильно испугалась: так заледенела от ужаса, что не смогла отдернуть руку.

– Вот и я тоже, – мягко добавил он, – но тут мы уже ничего не сможем поделать.

* * *

Даже выдавшему виды такси, которое она поймала в Южном Кенсингтоне, не удалось вернуть ей хоть сколько-нибудь заметное ощущение реальности. Всю дорогу до Кэмпден-Хилла она просидела под впечатлением от его непрерывно повторяющихся слов – они не начинали

и заканчивали звучать у нее в ушах, а продолжались с одной и той же интонацией, не давая ее памяти перевести дух, так что она даже не замечала, как летит время или остаются позади улицы, как увеличивается расстояние между тем моментом, когда она услышала эти слова из его уст, и нынешним, когда она вспоминала сказанное им.

Ее такси остановилось за машиной Джулиана, она расплатилась и сама отперла дверь дома. Письмо от мужа лежало на эбеновом столике. Пока она разрезала конверт, Джулиан и Дороти появились на лестницах этажами выше и ниже. Джулиан заговорил:

– Ужасно жаль, мама, но тут кое-что стряслось. Дороти я уже рассказал. Слушай, а в чем дело? Выглядишь *жутко!* – Потом он заметил внизу Дороти и добавил: – Я не допоздна. Так что, наверное, еще увидимся. – И он почти выбежал из дома.

Дороти, потрясая голубым конвертом, сказала:

– Ужин готов, но я подам его через несколько минут. Мисс Дейрдре заходила и оставила вот это. Просила передать вам, что уехала за город на несколько дней – *подумать*, так она сказала.

Дороти часто давала понять, с каким неодобрением относится и к тому, и к другому, и теперь медлила, готовая разглагольствовать о своем отвращении к загородной жизни и своем презрении к мыслям – сочетанию, которое благодаря Дейрдре предоставило ей уникальную возможность. Но миссис Флеминг молча поплелась наверх, держа в каждой руке по письму.

Письмо от мужа она прочитала у себя в спальне, сидя перед зеркалом. О своих намерениях относительно свадьбы Джулиана он не написал ничего, только попросил ее пообедать с ним в самом мрачном и наименее часто посещаемом из своих клубов. Она положила его письмо обратно в конверт. «Выглядишь *жутко!*» – сказал Джулиан. Ей вдруг вспомнились слова Толстого о том, как был «постыдно и отвратительно» несчастлив Каренин, от которого после ухода Анны разлило горем. Должно быть, это верно не только для Каренина, иначе тот человек (даже сейчас она не знала его имени) не сказал бы то, что она услышала от него перед отъездом с вечеринки у Лейлы. Должно быть, это верно и для нее, несмотря на ее возраст, опыт, жизнь за ее плечами. Она уродливое воплощение несчастья, неприличное и нелепое, ей нельзя показываться на глаза людям: им придется либо скрывать свою неловкость, либо подвергать ее унижительной жалости, которой, как им скорее всего кажется, она на самом деле недостойна. В возрасте старше двадцати зависимость некрасива. Самодостаточность обладателя хитинового панциря – в порядке вещей в ее годы: самодостаточность, прогрессирующая вплоть до достижения кратковременного достоинства смерти. В возрасте за сорок уже нет той легкости, с которой находишь оправдания горю, болезни, любым требованиям, в испуге предъявляемым другим людям. Тебе полагается найти свое место в мире, а если не нашел, мир оставит неудачу без внимания и поставит тебя на то место, которое считает твоим. Даже будучи истерически несчастной, Дейрдре старалась выглядеть привлекательно: ее красота таинственным образом оправдывала жалость и стремление оберегать, которые она вызывала. («Неужели точно такой, какой меня сейчас увидел Джулиан, я выглядела *весь день?*»)

Напряженным взглядом она встретила с отражением своих глаз в зеркале; при таком освещении они казались мертвыми, почти бесцветными, а когда-то были неувядающими, вершиной бессмертия и синевы. Она научилась – с тех пор прошли годы – не сводить глаз с собеседника после того, как заканчивала говорить; таким образом ей удавалось ограничиваться простейшими словами и наделять их красотой, смыслом или остроумием, которым каждый спешил поверить. Она умела, как пишут в книгах, «чураться восхищения», так как была настолько уверена в нем, что имела возможность выбирать. Изошренное и изысканное преклонение, с каким относятся к женщинам, наделенным очарованием и интеллектом, доставалось ей; и теперь ей казалось, что она никогда не радовалась ему, едва сознавала его.

А теперь даже эти навязчивые мысли внушали презрение; она не считала их даже трогательными; жизнь за счет тембра голоса или цвета глаз казалась обыденной блажью, не заслу-

живающей ничего. Многим приходится обходиться и без таких недолговечных свойств. («Но они никогда и не были исключительной причиной моего существования – не были ни в какой период моей жизни: они оставались просто... свойствами, которые я не тратила впустую. Он женился на мне не за мои глаза или голос, хотя, возможно, без их привлекательности он не обратил бы на меня внимания. Мне был обеспечен более широкий выбор, и значит, теперь у меня, возможно, меньше оправданий за то, что в выборе я ошиблась. Или больше?»)

Дороти звонила в маленький, но голосистый ручной колокольчик, который Джулиан привез ей из Женевы. Миссис Флеминг встала из-за туалетного столика, и голубой конверт упал на пол.

Почерк Дейрдре укоризненно растянулся перед ее глазами, она устало открыла письмо.

«Дорогая мамочка,

я просто уезжаю из города. Майлс везет меня в какой-то Берфорд, где мы можем побыть немного, и я все обдумываю. Я рассказала ему все, и он хочет жениться на мне немедленно – но мне, конечно, необходимо серьезно подумать, прежде чем согласиться, так что мы проведем там неделю, пока я размышляю. Майлс в самом деле ужасно добрый, а это гораздо важнее многого другого, и он жутко с каким пониманием отнесся ко всей этой истории. Конечно, это означает начать новую жизнь и полностью вычеркнуть все, что было со мной до этого, но я правда чувствую себя надежно с Майлсом, и у меня будет ребенок. Жаль, что я пропущу свадьбу Джулиана, но Джун кажется мне такой инфантильной, что честно не понимаю, зачем ему это понадобилось, и это, по-моему, важнее. Отправлю ему телеграмму. Джун меня все равно не любит, а Майлс ее уж точно не вынесет – ему нравится, когда люди интереснее, чем он, что довольно мило с его стороны. Майлс говорит, что хочет познакомиться с тобой, когда мы вернемся. Не пугайся, если он не скажет ни слова – он ужасно застенчивый, когда надо с кем-нибудь знакомиться, для него это настоящее испытание, и он терпеть этого не может. Он вообще мало говорит. Миллион раз спасибо тебе за то, что пыталась помочь.

С любовью,

Дейрдре

Папе не говори, что его чек на день рождения будет дико кстати – как раз чтобы купить меховую одежду для меня! Ну все, мне пора бежать к началу новой жизни».

Письмо было помечено «4 часа дня». Она убрала его обратно в конверт. Других подтверждений ее ощущениям тщетности и фиаско теперь не требовалось. Она смутно – и тупо – понимала, что попытается помешать Дейрдре угодить в очередную классическую катастрофу, и вместе с тем знала, что потерпит неудачу. Шантаж альтернативой был слишком силен, соблазн «новой жизни» – чересчур велик.

Американская мюзик-холльная фраза военных времен (откуда взялась эта фраза, она не знала) «куда же нам дальше?» вписалась в ее размышления точно, как монета в прорезь автомата, который пуст, так как ответа она не знала. Желание вернуться, удалиться в знакомую жизнь, было на редкость сильным. Но она жила и потому не могла избавиться от страстного притяжения настоящего, которое всегда «сейчас» в физическом смысле.

И она сошла вниз, чтобы поужинать в одиночестве.

Если бы она в то время знала, как найти человека, который так напугал ее на вечеринке у Лейлы, она бросилась бы к нему. Но она не знала.

Дороти убрала со стола второй прибор.

Моя новая жизнь, подумала она, и села за стол.

Часть 2 1942 год

1

– Дело обстоит проще некуда. Все, что от тебя требуется, – встретить меня в 7:38 на Юстонском вокзале.

Так сказал мистер Флеминг накануне вечером в междугороднем телефонном разговоре, позвонив неизвестно откуда. И вправду, если уж на то пошло, что может быть проще? В мире, охваченном войной, педантично перемальвающей обширные города до состояния чрезвычайно мелких; с оставшимися позади такими катастрофами, как Сингапур и Дюнкерк; с такими достижениями управления и духа, как «пятая колонна» во Франции или битва Королевских ВВС за Великобританию; с повсеместными перебросками мужчин, женщин и детей в более или менее опасные места согласно требованиям масштабной ситуации; со стремительными взлетами и падениями стоимости жизни, словно на взбесившейся фондовой бирже, – какая-то встреча поезда казалась почти бессмысленно простой. Миссис Флеминг надела через плечо сумку с противогоазом, порылась в другой сумке в поисках фонарика и отправилась встречать поезд в 7:38.

В Холленд-Парке она поймала такси. Он, конечно, подразумевал, что она встретит его на машине, но даже представить себе не мог, что бензина, выданного по карточкам, даже близко не хватит на поездку из Кента и обратно. Это вызовет его недовольство, объяснения лишь усилят раздражение. Он бы, размышляла она, пожалуй, предпочел, чтобы машина взорвалась, но не заглохла из-за нехватки топлива. Худшим (и очень показательным) моментом в ее существовании в военное время была невозможность эффективно справиться даже с таким незначительным, но непредвиденным обстоятельством, как междугородний звонок мужа. Их дом в Тентердене в настоящее время вмещал Дейдре, девочку, которую подсадили к ним в войну, трех выздоравливающих морских офицеров, в том числе одного с сильной контузией, мать из разбомбленного дома и ее перепуганное и грязное семейство из трех человек и Дороти, с точки зрения которой даже вереница молодых поклонников-инвалидов не возмещала ужаса жизни в этой стране. Еще у них жила шикарная, угрюмая и в целом анекдотичная дружинница Женской земледельческой армии. Все эти несовместимые, в разной степени несчастные люди представляли собой непредвиденные обстоятельства того или иного рода, и, хотя принято было считать, что критические ситуации зачастую пробуждают лучшие качества во всех людях и в особенности, как постоянно утверждала британская пресса, – в британцах, обычно подразумевалось, что продолжительность таких ситуаций не превышает нескольких часов или, может быть, дней. Но война длилась уже немислимо долго, она разверзлась и раскинулась перед миссис Флеминг так же безотрадно, как старость и смерть, и все у нее в доме (кроме разве что детей) давно уже не дотягивали до новообретенной национальной черты – блистать во время кризиса.

Миссис Флеминг полагала, что миссис Фосетт, *возможно*, и впрямь блистала в ту ночь, когда разбомбили ее дом; и в самом деле, бедняжка, хоть и была болтлива, продемонстрировала присутствие духа, в котором все же ощущалась частица смелости, но теперь, когда она лишилась и дома, и врагов-соседей, чью репутацию ей оставалось чернить лишь в воспоминаниях, и мужа, который долгие годы служил главным источником вдохновения для ее нападок и презрения («еще несколько таких, как *этот*, в армии – и нипочем нам войну не выиграть, разве что против недоумков!»), улетучились все остатки ее славы: деревня уже исчерпала все запасы восхищения и зависти, слушая ее историю бомбежки, и миссис Фосетт напустилась (во всех

возможных отношениях) на трех своих горемычных детей, чей страх перед матерью значительно превосходил испытанный при авианалете. Миссис Фосетт скандалила с Дороти и с дружинницей и лупила своих детей так умело и дико, что, каким бы богатым ни был их опыт, им едва удавалось избежать колотушек. Она отказывалась убирать отведенную ей часть дома и выменивала пайки своих детей на сигареты. Этот ордер на постой был для нее третьим, и «мне сказали, что жить тут придется, хоть пусть какие будут условия, а они, смотрю, так себе», – как она высказалась по прибытии.

В жизни Дороти господствовал Гитлер, чему способствовал радиоприемник. По ее мнению, правительство в Англии отсутствовало как таковое: все было так скверно организовано, и виноват в этом лично Гитлер. Затемнение, продуктовые карточки, нехватку мыла, бензина, топлива для бойлера, пряжи для вязания – словом, все с дьявольской изобретательностью подстроил не кто иной, как Гитлер. Дороти была глубоко убеждена, что лишь его убийство положит конец войне, и, поскольку в ее представлениях он спал в пуленепробиваемой пижаме на глубине не меньше сорока футов под землей, посещаемый только приспешниками, которых опивали, чтобы они поддерживали его, в размышлениях Дороти насчет его возможного убийства царил вечный мрак. Как полагала миссис Флеминг, порой Дороти даже начинала сомневаться в том, что Гитлер смертен. Непрестанно слушая приемник, она заявляла о полном неверии во все, что он ей сообщал. Работала она с утра до ночи и обожала морских офицеров и детей, между которыми не делала никаких различий. Все они были неопрятны, все беспечны, все обожали шоколадную манную кашу, которую она готовила им с ревностным усердием. К дружиннице миссис Флеминг относилась с настороженностью горожанки, считая, что близость этой девушки к природе способна привести лишь к естественным для той же природы, но сомнительным (для миссис Флеминг) последствиям. Она излучала секс, все свободное время дома посвящала своей внешности и уделяла внимание исключительно мужчинам – с целеустремленной прямоотой, внушающей ужас слабым выздоравливающим. Единственным, в чем сходились Дороти и миссис Фосетт, была неприязнь к Тельме. Хоть ей и приходилось вставать в шесть утра, чтобы добраться на велосипеде до своей фермы, она зачастую где-то пропадала всю ночь. Другие дружинницы недолюбливали ее. Миссис Флеминг было невероятно трудно испытывать приязнь к настолько невосприимчивому и безответственному человеку. Она вздохнула. Покинув дом даже на один вечер, она переполнилась опасениями, подкрепленными опытом. Отъезд стал подобен оттаиванию скованного морозом разума до такой степени, когда начинаешь понимать, насколько глубоко он парализован – и возвращаешься в состояние заморозки.

В темноте Юстонский вокзал оказывал воздействие почти исключительно запахами: рыбы, дыма, уборных, угольной пыли, пота, мазута, свеженапечатанной газеты, дешевых духов (гвоздики или фиалки), живности, дезинфекции и мебельной политуры. Непосредственный эффект возник, едва миссис Флеминг вышла из такси, и был настолько силен, что казался почти материальным, словно завеса тумана, и ей казалось, что стоит протянуть руку, и она коснется ее, а если внезапная вспышка фонарика осветит ее руку, окажется, что в нее таинственным образом глубоко въелась копоть.

Таксист отказался ждать, и она отправилась на поиски поезда, на котором приехал муж. В здании вокзала она заметила, насколько вокруг шумно: обширное скопление резких и негармоничных звуков – оркестровка необратимости, отбытия (так как поначалу она не сумела выявить никаких признаков прибытия); хлопали двери, взвивались свистки, слышались крики, створки выхода на перрон лязгнули, открываясь и пропуская багажный грузовичок, и снова лязгнули, закрывшись; бесконечный поезд бесконечно убегал из мутного приглушенного света в темноту, оставляя за собой бесплотный пригородный голос, объявляющий место его назначения в неисправный микрофон.

Она разыскала табло со сведениями о прибытии и обнаружила, что поезд ее мужа все еще довольно далеко от Лондона и опаздывает уже на сорок минут. Таксист ни за что не согласился бы простаивать так долго. Она отправилась на поиски кофе.

Буфет был переполнен. Стоя у прилавка с мраморной крышкой, блестящей от бесчисленных влажных и липких кругов там, где ставили мокрые стаканы, она ждала кофе, зная, что пить его будет невозможно. Рядом с ней была выставлена под стеклянным колпаком серебряная трехъярусная ваза-подставка. Ее спросили, не желает ли она что-нибудь из еды. Сэндвичи со свеклой и фигурная выпечка в виде бомбочек (корнуолльские пирожки) были выставлены на очаровательных бумажных салфеточках с кружевными каемками. Свекла между толстыми кусками хлеба поблескивала с глухим раздражением аллигаторовых глаз. Съесть ей ничего не захотелось.

Так или иначе, размышляла она, дом в Кенте обеспечил вполне надежное пристанище для Дейрдре и Джулиана на время каникул. Ее муж хотел отправить их в Америку или Канаду и даже все уже уладил, а затем вместе с ней встретился с детьми, и она, стыдясь своей потребности в обществе детей, чуть не поддалась ему, чтобы они были в безопасности, как следует накормлены, окружены заботой и вдобавок повидали мир. Но за неделю до того ей представился случай сопровождать подругу, которая провожала своих детей в Канаду, и этот опыт стал мучительным и незабываемым, обрывками возвращаясь к ней всякий раз, едва она оказывалась на вокзале... Родителям пришлось уговаривать детей войти в вагон, один маленький мальчик все спрашивал:

– А это *надолго*?

– Нет-нет, совсем *ненадолго*.

– До Рождества?

– Там видно будет, но это точно *ненадолго*.

– Тебе понравится, – уверял отец мальчика, и ребенок вдруг понял, что родители лгут, что время никак не зависит от них троих: он не расплакался, но молча смотрел на них с беспомощным горем и обидой, пока поезд не тронулся.

Одну малышку сопровождающей пришлось силой отрывать от ее матери и уносить в вагон рыдающую от горького открытия тоски по дому.

– Она же *говорила*, что довольна. *Говорила*, что *хочет* уехать, – твердила ее мать. Ее уверяли, что ребенок забудет, что успокоится прежде, чем они успеют доехать до Ливерпуля, а тем временем девочка все кричала и кричала, что хочет домой – она *не* хотела, *не* хотела...

Когда поезд скрылся из виду, мать девочки наклонилась, держась за багажный грузовичок, и ее бурно вырвало.

Были и те, кто ожесточился и приобрел стойкость, кому говорили, что нельзя бояться школы и темноты, нельзя плакать. Они прощались и заходили в вагон, как вымуштрованные солдатики, незаметно нащупывающие в кармане носовые платки или крепко прижимающие к себе своих мишек и кукол. И конечно, многим происходящее казалось веселым и захватывающим. Это *их* родители потом падали в обморок или уходили, повторяя друг другу ту же ложь, которой другие родители пичкали детей. Это *ненадолго*. В сущности, так будет гораздо лучше...

Как бы там ни было, Дейрдре осталась с ней. И Джулиан продолжил учебу в подготовительной школе, которую окончил к Рождеству. Каникулы он провел с ней. Упорядоченность, которую приносили школьные семестры и каникулы, как ни странно, служила ей утешением в нынешней жизни. Она помогала оправдывать однообразие повседневных мелочных забот (что же нам, скажите на милость, съесть на обед? Почему комитет по ГСМ вообще не отвечает на письма? и т. п.), утешала в состоянии постепенной потери упорядоченности иного рода – зыбких, но непростых отношений, которые установились в Лондоне между ней и мужем, а теперь заметно ослабевали. Она все реже и реже виделась с ним, поэтому во время кратких

нерегулярных встреч вроде той, которой она ждала сейчас, он казался и чужим, и знакомым в совершенно неверной пропорции. О своей работе он говорить отказывался, но она явно была на редкость изнурительной и постоянно вынуждала мотаться его по всей стране. Миссис Флеминг имела смутное представление о том, что он перемещается на бомбардировщиках и всевозможных морских судах, но не знала, почему, а он не считал нужным объяснять ей. Изредка он звонил ей, чтобы сказать, что возвращается или что с ним все в порядке, то есть просто подтверждал ее опасения, не уточняя их. То, чем он занимался, полностью поглощало его мысли, и даже в тех редких случаях, когда он приезжал в Кент, он был либо чем-то озабочен, либо откровенно скучал. Но главное, дети, в особенности Дейрдре, давали ей возможность (по крайней мере, иногда) считать собственную жизнь унылой, но не лишенной смысла: эгоистичная и скрытая паника, которая порой накатывала на нее при мысли, что ей уже недолго осталось до сорока, слегка отступала, когда она смотрела, как растет и взрослеет Дейрдре. В конце концов, что полагается делать с собственной жизнью в возрасте тридцати пяти лет? В самом деле, *чем бы* она занималась, если бы не война? Здесь, посреди Юстонского вокзала, в окружении самой разной военной формы цвета хаки, вообразить это было выше ее сил: оказалось, что даже вспомнить, какой была ее собственная жизнь в 1939 году, так же трудно, как переодеть всех посетителей буфета из военной одежды в штатскую. Эта довоенная жизнь самим своим названием теперь казалась пустой и неуместной мечтой, в которой досуг и удовольствие были естественным явлением. Она перестала притворяться, будто собирается пить кофе, и решила предаться ностальгии, если сумеет найти где-нибудь место, чтобы присесть.

За пределами буфета холод пробирал до костей, и ее вдруг стала страшить встреча с мужем; отсутствие ждущего такси; натянутый и ущербный разговор в ожидании его; возвращение в запустелый полузапертый дом. Теперь она уже почти жалела, что отклонила предложение Ричарда сопровождать ее, хотя причины этого отказа до сих пор казались ей вескими. Ее мужа раздражали выздоравливающие раненные *en bloc*¹⁰, и он, словно образец женской логики, пропускал мимо ушей ее довод, что альтернатива им – новые миссис Фосетт.

Она отошла взглянуть на табло и обнаружила, что с него начисто исчез поезд, который она ждала. Дряхлый тип, судя по виду, страдающий несварением, работой которого было менять сведения на табло, на все ее расспросы отвечал сардонической ухмылкой, чем лишь приводил ее в бешенство, ведь было очевидно, что он слышит, о чем она спрашивает, и знает ответ. Наконец столь же дряхлый тучный носильщик сжалился над ней и сообщил, что искомый поезд прибыл несколько минут назад. «Платформа 18, вы должны еще застать его там» – подразумевалось, что ей очень повезет, если в самом деле застанет. Она бросилась к поезду, унося на себе злобный взгляд старикашки, обслуживающего табло.

Когда она подросла, муж уже был у выхода с платформы. Он отдал свой билет и застыл неподвижно, одетый в черное пальто с бархатным воротником, в котором всегда выглядел так, словно оно ему велико, крепко вцепившийся в чемоданчик – как ей было известно, невероятно тяжелый. Похоже, он не видел, как она приблизилась, и, когда она окликнула его по имени, вскинулся и заморгал.

– А-а, – сказал он.

Едва начав объяснять про табло, она поняла, что эти объяснения ни к чему, что они выглядят глупо и бессмысленно. И она оборвала себя, сказав, что это неважно, вдруг осознав, что ей предстоит еще сказать ему, что она не на машине.

Они все еще стояли там, где встретились, а тем временем остатки толпы с поезда просачивались через выход с платформы и растворялись в темноте. Она сказала:

– Извини, привести машину я не смогла. Придется нам постараться поймать такси.

– Нет, если придется слишком стараться. Я вызову машину.

¹⁰ В целом (*фр.*).

Она в удивлении обернулась к нему и увидела, что он ищет в карманах мелочь. Достал пачку пятифунтовых банкнот, и она поняла, что загадочным образом у него, как всегда, нет других денег.

– У меня есть, – сказала она, молясь, чтобы мелочь и вправду нашлась – слишком многое в их жизни удалось бы сгладить обнаружившимся у нее двухпенсовиком.

Он взял ее за руку и повел к телефонным будкам.

Два пенса у нее и вправду были, и он забрал их и вошел в будку, оставив чемодан при ней.

– Через десять минут, – объявил он, когда вышел. – Что с едой?

– Дома есть ужин.

– А какое-нибудь мясо?

– Бекон. И яйца.

– Мне нужно мясо, – высказался он. – Прихватим по дороге.

Вместе с ним она покинула вокзал, ощущая необъяснимую подавленность. Чувство страха, которое мучило ее перед встречей с мужем, не исчезло, а наоборот, усилилось. Уже три раза она проявила себя непредусмотрительной и нехозяйственной, хотя, казалось бы, в ее возрасте могла бы этого избежать.

Наконец приехала машина, про которую он сказал, что это за ними, и оказался прав. Он усадил ее, сказал что-то водителю, и тот накрыл ей колени пледом, который казался замызганным даже в темноте. Машина тронулась.

– Где же ты собираешься достать мясо? – спросила она, но получила от него резкий тычок через плед, и его укоризненные бледно-голубые глаза заблестели притворно-заговорщицки.

– Рассказывай, как у тебя дела, – заговорил он минуту спустя.

– Все в точности так, как прежде, и, пожалуй, это даже хорошо. А у тебя?

– Все в точности иначе.

– Другая работа?

– Возможно. На *твоей* жизни это никак не отразится, – добавил он. Этим он и не собирался утешать ее, и она чуть недовольно возразила:

– А на *твоей*? На *твоей-то* наверняка отразится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.